

ВИКТОР  
**ПРОНИН**

БРЫЗГИ  
**ШАМПАНСКОГО**



ЛУЧШИЕ РОМАНЫ  
ОТ СОЗДАТЕЛЯ  
«ВОРОШИЛОВСКОГО  
СТРЕЛКА»

Виктор Пронин

**Брызги шампанского**

«ЭКСМО»

## **Пронин В. А.**

Брызги шампанского / В. А. Пронин — «Эксмо»,

Неправда, что деньги не пахнут. Деньги пахнут кровью. Большие деньги – большой кровью. Семеро друзей, так успешно раскрутившие свой неслабый бизнес, очень скоро убеждаются в этом. Их становится все меньше: взрывы машин, выстрелы в упор, бесследные исчезновения... В конце концов наступает момент, когда двое уцелевших «заказывают» друг друга. Так уж получилось. У денег свои законы...

## Содержание

* * *	5
Конец ознакомительного фрагмента.	61

## Виктор Пронин

# Брызги шампанского

\* \* \*

Нас было много на челне.

Иные парус напрягали, иные просто умирали. Их, вернее, убирали. Чтоб не мешали. А они мешали – самым своим существованием. Не выдерживали схваток с собственными слабостями, милыми такими недостатками – недержание слова, недержание языка, недержание денег. Деньги не любят солнечного света, свежего ветра, громких голосов. Они предпочитают тишину и полумрак. И еще деньги не любят, когда их называют деньгами.

Лучше их никак не называть.

Даже употреблять слово «они»... Нежелательно. У них свое понимание жизни. Понять их законы невозможно, лучше и не пытаться. Этого они тоже не любят – нервничают и исчезают, чтобы вынырнуть в совершенно неожиданном месте, в непредсказуемой компании и опять же с непонятной целью.

Деньги не могут существовать сами по себе, они питаются кровью человеческой, страстями и, простите за глупое слово, – мечтами, успехами и поражениями человека.

Да, нас было много на челне.

Но мы не знали законов денег, вернее, больших денег. А деньги и большие деньги отличаются, как небо и земля. Потом нам вдруг стало тесновато. И хотя нас становилось все меньше, ощущение тесноты не исчезало. Более того, оно делалось все нестерпимее. Это чувство мучительно требовало выхода.

И оно этот выход находило.

Теперь я остался один. Наверное, бывает и так. А ведь прошло совсем немного времени... Года два, может быть, три.

И я один.

Лежу на голых камнях коктейльного пляжа и чувствую себя каким-то чудищем, выброшенным штормом из морских глубин. Третий день сильный ветер, злая волна, на пляже почти никого, и только мое отощавшее тело с бестолково разбросанными руками-ногами украшает пустынный пейзаж. В сентябре здесь всегда ветры, солнечные ветры из южных стран. В Турции опять землетрясение, а сюда докатилась лишь морская рябь – мутная, теплая, безобидная.

Подо мной – грязноватая, бесформенная галька Дома творчества писателей. Когда-то здесь был прекрасный черный песок, но его вывезли на строительство дач и завезли щебень с ближайших карьеров. За двадцать лет море кое-как обкатало острые камни, и теперь на них можно лежать. Но сущность щебня осталась прежней – каждый камень так и норовит впиться в тело каким-нибудь отупевшим своим острием. Пройдет сотня лет, и, глядишь, здесь будет вполне терпимый пляж.

Дождаться бы...

Но это я ворчу, ворчу, рассматривая гальку прямо перед моими глазами. Между камнями мятая пробка от бутылки, осколок стекла, ржавая женская шпилька. Черные верткие жучки бесстрашно протискиваются в щели между камнями, не боясь быть раздавленными, не подозревая, что человеческая ступня легко перемещает камни, которые кажутся им такой надежной защитой. Не знают, бедные, не знают, глупые, что надежных защит не бывает, как не бывает надежных крыш – уж об этом-то я могу судить со знанием дела.

В пяти метрах от меня лежат на камнях несколько загорелых до черноты девушек. Я бы даже сказал, излишне загорелых, у некоторых на лбу, на щеках проступили сероватые пиг-

ментные пятна – явный перебор. Видимо, здесь они не первый месяц. Неужели можно столько загорать?

Надеваю темные очки, купленные когда-то на неаполитанской набережной, хорошие очки, из настоящего, чистого стекла. Теперь я могу рассматривать девушек настырно и безнаказанно. И я рассматриваю их голые плечи, ягодицы, бедра и прочие достоинства. Все открыто, все обнажено. Это не нудисты, нет, на них купальники, но какие-то своеобразные. Верхняя часть купальника отсутствует вовсе, а нижняя представляет собой два шнурочка – один проходит по талии, а второй утонул где-то между их достоинствами. Девушки знают, что я их рассматриваю, и принимают причудливые позы, чтобы солнце бесстыдными и жаркими своими лучами дотянулось до самых сокровенных мест, чтобы и самыми сокровенными своими местами похвалиться по возвращении на Большую землю.

Неужели найдется воздыхатель, который и туда заглянет, чтобы убедиться – и там все загорело? Нет, ничто во мне не вздрагивает, ничто не откликается на эти невинные, в общем-то, призывы. Я пуст, как вон та пивная бутылка, которая безвольно ворочается в мутных волнах, поблескивая зеленоватыми боками.

– Не делай этого, – попросил он, не оглядываясь. – Будешь сожалеть. Если хочешь, я исчезну. И ты никогда меня больше не увидишь, никогда обо мне не услышишь.

– Согласен, – сказал я и нажал курок. Я знал, куда нужно стрелять, чтобы всем было хорошо. Он больше ни о чем не просил. И свое обещание выполнил – я его с тех пор не встречал и ничего о нем не слышал. Откуда мне было знать, что он и мертвым умудрится о себе напомнить страшновато и опасно?

А сколько нас было? Человек семь?

Да, нас было семь человек.

Иные парус напрягали, иные тихо исчезали...

– Молодой человек, который час? – спросила девушка с раздвинутыми навстречу солнцу ногами, спросила, не оборачиваясь, не глядя, но всем своим телом меня видя и ощущая.

– Половина второго, – обычно я не ошибаюсь больше чем на две-три минуты.

– О! Скоро обед! – обрадовалась девушка и, сдвинув потрясающие свои ножки, перевернулась на живот. – А вы где обедаете?

– В столовой.

– О! Вы – писатель?

– Спасатель.

– Кого спасаете?

– Себя в основном.

– Успешно?

– Как видите.

– А от чего спасаете?

– От смерти.

– Вы боитесь смерти? – Ее голубовато-серые глаза были широко открыты, и, ожидая ответа, она даже чуть приоткрыла ротик, показав ровные белые зубки – сознательно показала, чтобы я знал, какой она бывает в минуту... Ну, в ту самую минуту. Все это я увидел, все понял и, заглянув в себя, в самую глубину, с облегчением убедился – пусто.

– Боюсь, – ответил я после некоторого молчания.

– Она где-то рядом?

– Она всегда рядом.

– Совсем-совсем? – Слова совершенно невинные, но только после вопроса я понял, что чем-то ее заинтересовал.

– На расстоянии вытянутой руки.

– И моя смерть тоже... На расстоянии вытянутой руки?

– Ваша чуть подальше... На расстоянии вытянутой ноги. А ваши ноги, как я заметил, достаточно длинные.

Девушка рассмеялась, я тоже изобразил лицом нечто напоминающее улыбку, чтобы не показаться уж совсем круглым идиотом.

Кроме девушек и меня, на пляже никого не было.

И Дом творчества писателей тоже был пуст.

Нет здесь писателей.

А говорят, в прежние времена сюда ломились инженеры человеческих душ, за каждое место дрались, за полгода заявки подавали, секретаршам конфеты носили коробками, чтоб понравиться, чтоб запомниться. Куда они все подевались?

Их тоже было много?

На их челне...

Иные что-то создавали, иные в море заплывали, а чаще просто поддавали.

Девушка почему-то настойчиво спрашивала о смерти, зацепило ее слово, брошенное без всякой задней мысли. Неужели догадалась, неужели почувствовала, что от меня просто несет вонюю смерти?

Может быть, может быть...

Меня сейчас могут искать на Багамах, Канарах, даже на Ямайке. С единственным стремлением – убрать. Но не в Коктебеле же... Не в сентябре же, когда опустевают пляжи, шашлычные, горные тропы и прибрежные воды. После летнего многолюдья, после круглосуточных загулов, когда ночи напролет земля содрогалась от грохота оркестров, визга женщин, осата-невших от безнадзорности...

После всего этого саднящая тишина кажется невыносимой.

Девушка больше ни о чем не спрашивала. Она произнесла все, что требуется в таких случаях, даже больше. За дальнейшими ее словами уже шла бы навязчивость.

Еще раз прислушался к себе, всмотрелся в темные свои глубины.

Печальная опустошенность.

Такое состояние бывает после затяжной болезни, когда однажды утром просыпаешься слабым, немощным, похудевшим, но здоровым.

Я поднялся, сунул ноги в шлепанцы, поднял рубаху и поволок, поволок ее по горячей гальке к выходу. Камни сухо поскрипывали под ногами, рядом шелестела неспешная волна, от Карадага дул теплый ветер, настоящий на осенних травах. Где-то рядом ощущалось присутствие людей, слышались негромкие голоса, призывный южный смех, но меня эти звуки нисколько не затрагивали.

И вдруг охватило острое ощущение – вокруг сентябрь, вокруг Коктебель, а я здесь один, обдуваемый ветром с гор. Загорелый, отощавший, пустой. И эта пустота была приятна, как и солнечный ветер, как и легкая волна на темно-синем море.

К сентябрю Коктебель остывал, и появлялась в нем почти непереносимая привлекательность. Камни уже не были столь горячи, и полуденный зной становился вполне терпимым. Хотя по опустевшим дорожкам все еще бродили красавицы, но уже не летние, другие, чуть остывшие после лета, после жизни, полной чего-то несбывшегося, – они все выглядели так, будто у них что-то важное не состоялось.

Все мы немного поостыли, поуспокоились, поубавилось желаний и куражу. Но то, что в нас осталось, то малое, что сохранилось, вдруг заострилось, наполнилось неутраченной жаждой доказать свое, остаться правым или хотя бы выжить и уже этим доказать свою правоту, в чем бы она ни заключалась.

Уж не я ли единственный и остался? Не исключено, не исключено... Я да вот еще некто, который шастает сейчас где-то по Багамам или по Канарам, сунув руку в карман и сняв предохранитель. Его глаза за темными очками прищурены бдительно и настороженно – он высматривает меня.

Удачи тебе, дорогой.

Не обознайся, не промахнись.

За себя ручаюсь – не обознаюсь. И не промахнусь.

И вдруг в мое самодовольное благодушие вошла тревога, беспокойство. Что-то было не так, что-то нарушило улыбчивое перебирание событий недавнего прошлого.

Я подошел к парапету, положил ладони на горячий бетон, взглянул на море, пошарил взглядом по берегу.

Внизу на камнях увидел девичье лежбище – несколько минут назад я был там. Девушки заметили меня, одна из них помахала тонкой загорелой рукой. Я ответил, она улыбнулась и пошире раздвинула ножки, впуская в себя солнце. Вот видишь, как бы говорила она, я не только снаружи, я и внутри вся залита солнцем, у меня и внутри все горячо, свежо и коктейльно. Она хотела убедиться в том, что я вижу ее раскованность и готовность.

Пристальнее взглянув в себя, я убедился еще раз – пусто. Пустота, пронизанная опасностью.

Я понял – меня можно вычислить.

А если можно, то уже вычислили.

Однажды, в хорошем уже состоянии, когда все мы были на одном челне и нам не было тесно... В грузинском ресторане, недалеко от станции метро «Проспект Мира»... Да-да, это случилось именно там, выходишь из метро – и налево... На столе стояло много шампанского, у нас всегда было много шампанского... Фирменный напиток. Серебряные ведерки, забитые кубиками льда, из них торчат серебристо-зеленые горлышки, все счастливы и расслаблены – удалось, получилось, состоялось. И я произнес слово «Карадаг». Не помню, по какому поводу, просто всплыло из глубин организма, добралось до языка, и глупый язык проговорил это словцо.

Карадаг.

Так вот, если кто-то это словцо вспомнит...

То у меня нет убежища.

И я сейчас, как вошь на гребешке, – виден со всех сторон.

Скользнув взглядом по щербатым вершинам Карадага, я спросил себя: будешь удирать? И ответил себе – нет. Если последние наши выстрелы прозвучат здесь – так тому и быть. Нет сил снова куда-то нестись, менять самолеты на пароходы, острова на материки, горы на равнины. Нет никаких сил. А если уж откровенно, то и некуда. Мир, оказывается, не так уж и велик. Места, где ты хочешь жить, можно перечислить по пальцам. Где-то в Греции найдется уголок, в Испании... Есть в запасе юг Сахалина...

Пусть шумят волны, дует с гор теплый ветер, настоящий на горькой крымской полыни, пусть набережная с каждым днем становится все безлюднее, пусть остывают камни парапета, мутнеют волны. Татары и узбеки, азербайджанцы и армяне уже закрывают шашлычные, чебуречные, хачапурные и прочие дерьмовые свои забегаловки. Шашлыки разогревают по нескольку дней, пока не купит какой-нибудь дурак, ошалевший от столовских харчей. И чебуреки давно превратились в подошвы, но торговцы продолжают их поджаривать и зазывать простодушных отдыхающих. В разговор с торгашами лучше не вступать – тут же начинают восторгаться Басаевым, Радуевым, Хаттабом, тут же с непонятным остервенением начинают материть русских. Ну и ехали бы жарить шашлыки к Басаеву, попробовали бы угостить своими чебуречными ошметьями Хаттаба...

Чужие люди.



А как тогда лилось шампанское! Какие счастливые брызги окропляли застолье! Как прекрасен был мир, распахнувшийся вдруг перед нами во всем своем великолепии! Он и сейчас не хуже, этот мир, но нет сил восторгаться им, принимать от него дары великодушные и бесценные. И уж нет тех людей, которые восторгались этим миром так искренне, так радостно и ошарашенно.

Погиб и кормчий, и пловец...

Или певец?

А может, подлец?

Меня легче узнать – я длинный. Моя голова всегда над толпой. Мой затылок уязвим для любого стрелка. Единственная надежда – он глупее.

И знает это.

И потому опаснее.

Он не будет искать удобный момент, подыскивать пути отхода, выбирать время суток, когда выполнить черную свою работу уместнее всего. Просто всадит мне три пули между ухом и виском, а потом спокойно шагнет в кусты, чтобы отлить. Он прекрасно знает, что здесь, в Коктебеле, ему нечего опасаться. Забросит пистолет в залитый водой строительный котлован, выйдет на дорогу и на первой же попутке рванет в Феодосию. Или в противоположную сторону – в Судак, Ялту. И не задумается даже – куда лучше, куда безопаснее. Не будет готовиться и колебаться. Да, он непредсказуем. Я уже слышал об этом – отправляясь на задание, он мог остановить машину, которая шла в нужном направлении, мог сесть в машину, которая шла в противоположную сторону, – и заходил с тыла.

Я его никогда не видел, ничего о нем не знаю, кроме одного – он всегда выполнял порученное. Даже когда заказчик уже был мертв. Кодекс чести. Если взял деньги, работу надо выполнить. Похоже, любит свое дело и даже получает от него удовольствие. Я не знаю его имени, возраста... Мужчина ли он? Женщина?

Оказывается, и это мне неизвестно.

Загорелые девочки легкой стайкой пропорхнули мимо. Та, которая выбрала меня, помала рукой. Я ответил таким же взмахом. Она улыбнулась. Красивое, дерзкое лицо, хорошая осанка. В порядке девочка. И спереди, и сбоку, и сзади. Так бывает нечасто. Ее подруги засмеялись, оглянулись – видимо, было что-то между ними обо мне сказано... «Смейся, смейся громче всех, милое создание. Для тебя веселый смех, для меня – страдание».

Опять заглянул в себя, прислушался.

Тихо и пусто. Почувствовал себя неуязвимее. Я всегда становился слишком уж зависимым, когда связывался с такими вот... Солнечными.

Часы на руке пискнули два раза – значит, время обеда. Громыкнул запор столовой Дома творчества, и на пороге возникла Наташа – хулиганистая, доброжелательная, которая в свое время кормила всю советскую литературу, всех классиков, лауреатов, секретарей, главных редакторов. И надо же, всех помнит, о каждом может рассказать забавную столовскую историю.

– Кушать подано! – сказала она громким голосом, оповестив пустую, раскаленную под полуденным солнцем площадь, за которой посверкивало мелкой рябью море.

И я шагнул в полумрак пустого зала. Когда-то здесь невозможно было протолкнуться – гудели честололюбивые, возбужденные голоса самых знаменитых людей страны. Да, их было много на челне. Иные парус напрягали, иные пузыри пускали. Их монументальные жены и юные любовницы, понавезшие нарядов со всего света, не знали, где все это барахло показать.

Показывали в Коктебеле, на этой площади, в этой столовой.

А сейчас... На всем затемненном пространстве столовой я увидел лишь Андрея – какой-то полубанкир, полукиллер приехал отдыхать из Днепропетровска. Мордатый, молодой, замедленный, с молчаливым ироническим пониманием о себе и об остальном мире. Нас рассадили

в разных концах зала, словно поместили нами размер громадного помещения. Мы поняли друг друга с первого взгляда. Мы были из одного племени – из обреченных.

Кажется, он тоже спасался. В его глазах я увидел ту же пустоватую печаль понимания, которая, наверное, была и у меня. Солнечные девочки клюют на такие взгляды. Они, глупые, видят совсем не то, что есть, они видят бесконечное, уверенное в себе спокойствие, обеспеченное круизами, лайнерами, островами и прочими прелестями, недоступными для них и потому особенно желанными.

Ошибаются.

Это не спокойствие.

Это пустота.

Когда-нибудь поймут, чуть попозже, чуть попозже, как говорит один мой знакомый следователь прокуратуры. Поймут, когда ничего уже нельзя будет исправить, когда их судьбы приобретут устойчивую необратимость. Впрочем, я не уверен, что им захочется что-либо менять. Канары, круизы, казино... Засасывают и лишают человека естественных, выверенных тысячами лет ценностей.

Это я уже могу произнести совершенно уверенно.

На первое был суп. Прозрачная жижица с кружочками жира и зелеными пятнышками петрушки. Выхлебал охотно и даже с удовольствием. На второе – котлета с каким-то неузнаваемым гарниром. Съел только котлету. На третье – компот розового цвета.

Окна со стороны моря так густо заросли диким виноградом, что только изредка в них можно было увидеть просвет. Полумрак создавал ощущение прохлады и свежести.

– Как обед? – спросила Наташа, проносясь мимо с тележкой, на которой позвякивали пустые тарелки.

– Отлично!

– Добавки?

– Нет, спасибо. Чуть попозже.

– На ужин рыба.

– Буду ждать с нетерпением, – заверил я.

Меня вполне устраивало такое питание. Возникло ощущение, что благодаря убогости питания во мне что-то очищалось, шел какой-то благотворный процесс, сути которого я еще не понял. Но сознавал – что-то во мне происходит, идут какие-то непонятные, но желанные превращения.

Одно из окон столовой было свободным от зелени – то ли не успело зарости, то ли его очистили, чтобы хоть немного осветить сумрачный зал. Через это окно я и увидел человека, до боли, до ужаса знакомого мне. Я бросился к выходу, пронесся среди столиков, выскочил на площадь. Но после полумрака зала оказался ослепленным и некоторое время беспомощно стоял в дверях, не в силах сдвинуться с места. Мелькнувшего мимо окна человека я догнал уже за рестораном «Богдан». Некоторое время шел за ним, потом положил ему руку на плечо и круто развернул к себе.

– Привет, Вася! – сказал я и тут же понял, что обознался.

Это был не он, не Вася.

Вася давно мертв.

– Извини, – я виновато развел руки в стороны.

– Бывает, – ответил незнакомый, чужой, ненужный мне человек. Но не улыбнулся, не простил. Похоже, я его напугал.

Когда я вернулся в сумрак столовой и подошел к своему столу, полубанкир Андрей из дальнего конца зала успокаивающе помахал мне полноватой рукой. Дескать, не переживай, бывает. И только тогда я сообразил, что свой обед уже съел и сюда мог не возвращаться.

– Добавки? – снова спросила Наташа.

– Нет, спасибо. Я за плавками вернулся. Плавки забыл на стуле.

В это время даже сентябрьское солнце выжигает с пляжа, с набережной самых отчаянных, самых стойких. На море частая рябь, с Карадага теплый ветер, в киосках полуживые от зноя девочки покорно досиживают оплаченное время. Ни пива, ни газет в это время никто не покупает. Какие покупки – выжить бы! Первые торговцы устанавливают в узкой пока еще тени фанерные щиты, расставляют на них картины, безделушки из раковин и камней, уже знакомый мне старик с седой бородкой расположился у каменной стены «Богдана» с красной, похоже, выточенной из кирпича безрукой Венерой.

Закрыв глаза, почти на ощупь, почти раздвигая руками обжигающие солнечные лучи, я направился к себе, в девятнадцатый корпус, в одиннадцатый номер. Раньше здесь позволено было останавливаться только классикам, имена и портреты многих из них красовались даже в школьных учебниках. Моего портрета в школьных учебниках нет, но кое-где, тоже в типографском исполнении, он имеется в наличии, и серьезные ребята всматриваются в мои глаза настороженно и опасливо. Они надеются, что я умер, но сомневаются. И правильно делают – никто не видел моего трупа. Я его тоже не видел.

На весь корпус нас трое – какой-то молодящийся тип с редкими волосами, выкрашенными в рыжий цвет, инакомыслящий еврей из Нью-Йорка, что-то находящий для себя на этом полудиком берегу, и я – личность без определенных занятий, без багажа, но с деньгами. О том, что я с деньгами, шустрые торговцы прознали на следующий же день и теперь наперебой предлагали мне кольца с местными камнями, фотографии Карадага, керамические подсвечники, пучки целебных трав. Похоже, всех их сбила с толку пустота в моих глазах. Они приняли ее за состоятельность.

И надо же, не ошиблись.

Войдя в прохладный полумрак номера, я закрыл дверь на два оборота ключа, потом закрыл дверь из прихожей, задернул шторы. И только тогда почувствовал себя в безопасности.

– Боже, как хорошо, – выдохнул я, падая раскаленным на солнце лицом в прохладную подушку. – Как хорошо...

Звуки, казалось, исчезли, расплавленные зноем. Сквозь вибрирующие струи воздуха лишь изредка пробивались негромкие голоса, ленивый лай собак, визг ошастливленной чым-то вниманием женщины.

У уличных пробок много недостатков. Тягостное ожидание, рев и вонь перегретых моторов, нервозность, которая как бензиновые испарения пропитывает застывшие в злой беспомощности машины, пустая потеря времени, кажется, лишаящая тебя последнего шанса в жизни. Ты уверен, что, не попади в эту вот пробку, все в твоей судьбе повернулось бы иначе – с обилием радостных встреч и счастливых находок. А теперь вот не будет ни встреч, ни находок, и вообще жизнь пойдет вкривь и вкось.

Много недостатков в уличных пробках – от сгорающего бензина, вместе с которым сгорают твои деньги, до раздраженности, которая наполняет тебя доверху. Кажется, она стекает по тебе потом, и даже рубашка твоя взмокла от этой человеконенавистнической раздраженности! И кто знает, сколько часов, сколько лет, в конце концов, пройдет, прежде чем ты избавишься от нее и сможешь вздохнуть легко и освобожденно, будто вышел за тяжелые ворота тюрьмы, где томился долго и несправедливо.

Но есть, есть и нечто положительное в этом гнетущем ожидании рядом с перегретым мотором и дергающимся водителем. Хочет того человек или нет, а слова он произносит, слова не только разумные, не только осторожные да продуманные, – всякие слова, разные.

– Москва, она и есть Москва, – негромко произнес пассажир, невидяще глядя в пыльное ветровое стекло, за которым не было ничего, кроме раскаленного воздуха да вздрагивающих от нетерпения машин.

– Это чем же тебе Москва поперек горла стала? – не глядя на него, спросил водитель, чутко уловивший в словах пассажира неприятие города.

– Поперек горла вроде как ничего не стало... А вот поперек дороги... Сам видишь.

– У вас, конечно, лучше, в вашем тмутараканском ханстве? – раздраженно спросил водитель – тощий, фиксатый, небритый.

– Гораздо, – ответил пассажир.

– Везде хорошо, где нас нет.

– Там, где мы, – тоже хорошо.

– Да?! – резко обернулся водитель, опять уловив какое-то унижение. – А где мы – там плохо?

– Как скажешь, – усмехнулся пассажир, выиграв эту маленькую перебранку. Понял это и водитель.

– А пошел ты на фиг! – сказал он и сплюнул в открытое окно.

Они застряли как раз напротив Института Склифосовского. Машины шли в обе стороны, разворачивались, гудели, над некоторыми уже поднимались прозрачные облачка пара. Проспект Мира почти ничего не отсасывал из этой пробки, со стороны Сретенки, от «Детского мира», с каждой зеленой вспышкой светофора поступали все новые вливания раскаленных машин – бился своеобразный пульс городской жизни.

Пассажир озадаченно посмотрел на водителя, выпятил вперед губы, как бы огорченный откровенной грубостью, несдержанностью собеседника, и принялся рассматривать внутренность машины, уделяя внимание всем тем мелочам и подробностям, которые нисколько не интересовали его минуту назад. И вдруг взгляд пассажира остановился на карточке водителя в пластмассовом конвертике. Там значилась фамилия – Здор.

– Так ты – Здор? – спросил он с улыбкой.

– Ну.

– Здорово!

– Это что же тебя так распотешило?

– Первый раз встречаю такую фамилию.

– И последний, – с некоторой горделивостью произнес водитель. – Больше таких нет. Я один – Здор.

– А дети?

– И дети тоже Здоры.

– Или Здорята?

Водитель пожал плечами и тронул машину с места. Проехав метров пять, он опять вынужден был остановиться, уперевшись в широкий зад «пятисотого» «Мерседеса».

– А в той машине наверняка кондиционер, прохлада и полная тишина.

– Там есть еще бар с холодильником, – усмехнулся водитель. – Чтоб они все посдыхали!

– Зачем? – пассажир пожал плечами. – Хорошие ребята. Деловые, четкие, обязательные. Держат слово, не позволяют другим расслабляться. Хочешь такую?

– Что? – протянул Здор с таким выражением, будто ему предложили слетать на Луну.

– Я спросил – хочешь иметь такую же? – спокойно повторил пассажир. В его голосе явно прозвучали равнодушие, невозмутимость и даже некоторая скука, заставившие Здора посмотреть на него уже без насмешки. Он увидел в глазах пассажира именно ту пустоту, которая убеждала – тот не шутит.

– Ты еще спроси – хочу ли я трахнуть Шарон Стоун!

– Не советую.

– Почему?

– Это тебе обойдется во столько же, сколько стоит такая тачка, – пассажир кивнул в сторону задастого «Мерседеса», который перекрывал им все пути, все возможности вырваться вперед. – А там смотри, выбирай чего хочется больше.

– Если у меня будет такая машина, Шарончиха сама в салон залезет. И не захочет вылезать.

– А знаешь, очень даже может быть! – рассмеялся пассажир, откинувшись на спинку сиденья. И в этот момент Здор впервые бросил на него придирчивый, даже подозрительный взгляд.

Тот был явно выше, крупнее водителя, и даже в том, как сидел, чувствовалась раскованность, готовность поступать решительно и быстро. Слова, которые он произносил, тоже подтверждали эту готовность. Пассажир не навязывался со своими истинами, ни на чем не настаивал – и в этом ощущалась сила. Свободный светлый пиджак с подкатанными рукавами, светлые брюки, не штаны, а именно брюки, туфли из плетеной кожи выдавали некую состоятельность. Все на нем было свежее, незаношенное, незастиранное.

– Хочу, – неожиданно сказал водитель, негромко, вроде про себя, но от этого слово прозвучало с некоторым вызовом.

– Что хочешь? Шарон хочешь? Стоун?

– Машину.

– Такую? – пассажир кивнул в сторону «Мерседеса».

– Можно такую. Ты предложил? Отвечаю – хочу.

– Заметано, – пассажир передернул плечами, искоса глянул на Здора, и в глазах его впервые за всю поездку сверкнул огонек если не дьявольский, то очень на него похожий. – Заметано, – повторил он уже как бы для себя, прикидывая что-то свое, одному ему известное.

– Когда получать? – Здор поиграл желваками, что могло означать только одно – не верил он пассажиру и если уж ввязался в этот бестолковый разговор, то лишь по одной причине – ткнуть того мордой в собственные пустые слова.

– Значит, так, Здор...

– Михаилом меня зовут.

– Значит, так, Михаил, – невозмутимо поправил сам себя пассажир. – Кстати, меня зовут Игорем. Игорь Выговский. Принимается?

– Сойдет.

– Так вот... Я не трепался. И не надо делать вид, что ты мне не веришь. Веришь. Хочешь такую тачку? Она у тебя будет к концу года. Помолчи! – твердо произнес Выговский, заметив, что Здор опять хочет что-то возразить, перебить, вставить слово злое и бестолковое. – Заметь, я сказал – вот такую. Не лучше и не хуже.

– Это как понимать?

– Понимать надо так... Этой машине не меньше пяти лет, – Выговский кивнул в сторону «Мерседеса». – Значит, и мы с тобой говорим о машине, которая будет примерно в таком же состоянии. В возрасте пяти лет. Во всяком случае, не старше семи.

– Но «пятисотый»?

– «Пятисотый». Если сам к тому времени не передумаешь и не захочешь «жигуля».

– Не захочу.

– Семья? Дети? Квартира? – спросил Выговский.

– Да.

– Дача?

– Да.

– Это хорошо.

– Согласен, дача – это неплохо, – Здор ерничал из последних сил, понимая в глубине души, что он уже во власти этого странного пассажира, которого согласился подбросить на

площадь трех вокзалов. В багажнике лежал небольшой его чемоданчик, из чего следовало, что Выговский едет не встречать – он собрался уезжать.

Куда?

Кто его знает!

С площади трех вокзалов можно уехать куда угодно.

– Такая машина в зависимости от состояния... стоит где-то в районе двадцати тысяч долларов.

– Не возражаю! – сказал Здор опять с непонятным раздражением, опять с вызовом.

– Поздно возражать.

– Это как? – дернулся Здор.

– Ты уже согласился. И я согласился. Остались некоторые подробности.

– Какие еще подробности?

– Работа, старик. Работа.

– Что я должен сделать?

– Ничего, – Выговский широко улыбнулся. И опять в его глазах сверкнул огонек сатанинского азарта. – Будем сотрудничать. Вот и все. – Он протянул Здору визитную карточку, вынув ее из нагрудного карманчика пиджака движением легким и неуловимым.

Здор опасливо взял картонку, тронул машину с места, проехал метров пятнадцать, опять уперевшись в «Мерседес». И только тогда вчитался в визитку.

– Председатель правления концерна... – Голос Здора как-то сразу осел, сделавшись сиплым и негромким. – И сколько же народу в этом концерне?

– Уже двое.

– И это... Кем же я буду?

– Начальник транспортного цеха. Годится?

– Хохма, да? – Оцепенение, охватившее было Здора, откатило, и он опять сделался ершистым и ушмешливым. Резко вытерев запотевшие руки о штаны, он хохотнул, крутанул головой, как бы изумляясь собственной доверчивости, весело глянул на Выговского, снова тронул машину, проехав еще десяток метров. – Ладно, – сказал он, как бы прощая пассажиру неуместные шутки. – Тебя к какому вокзалу?

– Ярославскому. На Север еду.

– Север – это хорошо, – кивнул Здор одобительно.

– Наша фирма называется «Нордлес». На карточке написано.

– Красиво звучит.

– Я ведь не случайно к тебе подсел, – сказал Выговский как бы между прочим, будто все сказанное до этого не имело слишком большого значения.

– Да-а-а? – протянул Здор. – Чем же это я привлек к себе внимание?

– Знающие люди посоветовали. Вот, дескать, человек, который тебе нужен.

– И какие же это во мне прелести вдруг обнаружились?

– Они обнаружились не вдруг. Ты ведь бывал на Севере, да? Сколько лет там провел?

– Сколько надо.

– От звонка до звонка? – уточнил Выговский.

– Можно и так сказать.

– Хочешь поехать со мной?

– Прямо сейчас? – Здор и сам не заметил, как кратко спросил, будто одним выдохом. Вроде и ушмешливо, вроде анекдот подхватил, но была в его голосе, в вопросе, в быстроте ответа готовность если и не ехать с незнакомцем на Север, то хотя бы обсудить эту затею.

– С билетами проще стало. Поезда ходят полупустые. В купе по одному, по два человека.

– Это если туда ехать.

– Но мы ведь и едем именно туда.

– А назад?

– Как с делами управимся... Через неделю вернемся.

– Много дел?

– И от тебя зависит.

– «Нордлес», говоришь? – это были первые слова, которые Здор произнес всерьез. Он начал понимать, что треп давно кончился, да и вообще, был ли треп между ним и этим роскошным хмырем в пиджаке с подкатанными рукавами?

– Там все написано, – Выговский показал на визитку, которую Здор опасливо положил на приборный щиток, поодаль от себя, словно чувствуя исходящую от нее недобрую силу.

Пробка наконец немного рассосалась, машины медленно, но уже безостановочно двинулись по Садовому кольцу. «Мерседес», который все это время маячил перед глазами, рванул вперед, и ни один «жигуленок», ни один грузовик не осмелились остановить его, поприжать, оттеснить. «Мерседес» просто прошел сквозь поток машин, пересек несколько разделительных линий и уверенно свернул к банковским небоскрегам.

– Вот так надо ездить, – сказал Выговский.

Здор молча взглянул в его сторону, отметив про себя ровные зубы, загорелую шею, раскрытый ворот белой рубашки, оттеняющий загар. Он ценил в себе эту такую приклатненную непочтительность, с кем бы ни разговаривал и о чем бы ни шла речь. И сейчас, понимая, что невольно, сам того не заметив, попал, все-таки попал в зависимость к этому роскошному господину, который отправляется на Север совсем не так, как в свое время отправлялся он, Здор не мог изменить себе и изо всех сил старался сохранить тон.

– «Мерседес», конечно, хорошая машина, – медленно заговорил он. – И Шарончиха неплохая баба... А Шарончиха в «Мерседесе» – это, наверно, вообще полный отпад... Только вот что... Мне ведь с ней не совладать.

– Почему?

– По той же причине, по которой и ты не совладаешь.

– За себя я спокоен, – посерьезнел Выговский.

– Я тоже за себя спокоен, – Здор почувствовал, что взял верный тон, и как бы обрел уверенность. – Если уж называть вещи своими именами, если уж говорить откровенно...

– На это и надеюсь, – вставил Выговский.

– Не надо, – отмахнулся Здор, осознав вдруг, что Выговский допустил ошибку. Этими вот простенькими словами он выдал и свою зависимость от Здора. И все, что он говорил о Шарон Стоун и «пятисотом» «Мерседесе», действительно могло оказаться просто трепом. Выговский тоже понял, что промахнулся, его слова, которые вроде бы должны были польстить Здору, оказались пустоватыми. – Так вот, – Здор дождался стрелки на светофоре у Министерства путей сообщения и свернул влево, вниз, к площади трех вокзалов. – Так вот... Игорек. Я ведь прежними делами не занимаюсь.

– И прекрасно!

Оба сразу почувствовали, что и эти слова слабоваты.

– Не занимаюсь, – повторил Здор. – У меня теперь другие игры. Если кто указал на меня пальцем... Передавай тому человеку большой привет. – Здор подождал, пока проедет трамвай со стороны Красносельской, свернул круто влево и пристроился у высокой железной ограды рядом с туристским автобусом. – С тебя сто рублей.

Выговский молча вынул деньги, отсчитал десять сотенных купюр и положил их на приборную полку, накрыв ими собственную визитку.

– А теперь слушай. Я ведь всерьез предлагал тебе ехать со мной. Ты работал в леспромахозах. Знаешь местных. Условия. Начальство. Там же не только зэки, там и воинские части. Им нужно питание, обмундирование, начальству нужны деньги, хорошие деньги, у них нет техники, горючего... И так далее.

– И пойдут эшелоны на юг? – спросил Здор.

– На запад тоже.

– Там уже ждут?

– Заждались, – Выговский посмотрел на часы. – Так что? Едешь? Время есть.

– В другой раз. Если он будет, конечно.

– А почему ему не быть?

– Мало ли, – Здор склонил голову к тощеватому плечу. – Жизнь богата в своих проявлениях. То морду покажет, то зад... И не знаешь, что лучше. Вроде и морда – но оскаленная. Вроде зад – но добродушный и незлобивый... Так кто на меня-то вывел?

– Не скажу! – Выговский рассмеялся. – Как это в песне поется... Пусть останется глубокой тайною.

– Нет ничего тайного, что бы не стало явным.

– Ого! – восхитился Выговский. – Библию почитываешь?

– С ментами общаться пришлось. Чуть ли не каждый следователь мне эти слова приво-  
дил. И я поверил – правду говорят.

– До скорой встречи! – Выговский протянул руку.

– Бог даст, свидимся. – Узкая ладошка Здора утонула в широкой лапе Выговского. Была она, несмотря на жару, прохладной, и Здор явственно почувствовал властность, таившуюся в этой ладони. Женщины, должно быть, это чувствуют острее или, лучше сказать, обреченнее. Здор не пытался сопротивляться сильному пожатию Выговского, лишь усмехнулся про себя – знал он таких вот красавчиков, которые не упускали случая показать свое превосходство, в чем бы оно ни заключалось. Выговский увидел его скрытую усмешку и поспешно ослабил рукопожатие – это тоже была ошибка. Не надо бы ему вот так сразу настаивать, давить, возвышаться.

Когда он вышел из машины и затерялся в толпе, махнув на прощание высоко поднятой рукой, Здор поднес ладонь к лицу, понюхал и ощутил сладковатый запах – так пахнут арабские духи, в них всегда есть приторная сладковатость. Это его озадачило – у Выговского должен быть другой запах, не столь откровенно женский.

Золотой змей на шпиле Казанского вокзала сверкал в розоватых лучах закатного солнца, возле универсама «Московский» толпились люди, зазывалы через динамики приглашали посетить могилу Высоцкого, могилу Паховомой, могилу Квантришвили, могилы Листьева и Миронova, побывать среди могил Ваганьковского, Новодевичьего и еще каких-то кладбищ. Казалось, люди только для того и приезжали в Москву, чтобы побродить среди могил, будто больше здесь смотреть-то нечего, заняться нечем, среди живых и повидать-то некого. И надо же – лезли в автобусы тетки с сумками, пацанье в джинсах, девицы в таких коротких юбках, что каждый желающий мог оценить красоту и изысканность их ягодичных складок.

Как же – в Москву приехали!

Не лыком шиты!

Здор сидел за рулем, не прикасаясь ни к визитке Выговского, ни к его деньгам. Он не решился сунуть их в карман, словно ждал какого-то ему одного понятного разрешения, знака, сигнала.

– Слово предоставляется начальнику транспортного цеха, – пробормотал он. – Интересно. Жизнь, выходит, не кончилась... Жизнь, выходит, еще только начинается.

Неожиданно в боковое стекло раздался резкий частый стук – наклонившись и покраснев от натуги, в салон заглядывал толстый мужик.

– Свободен? – спросил он.

– Пока свободен, – усмехнулся Здор, открывая дверцу машины.

– Что значит пока? – требовательно спросил мордатый, видимо, боясь московского под-  
воха.



– То и значит. Неизвестно, останусь ли свободным завтра. А сегодня свободен, о чем и докладываю. Чистосердечно и искренне.

– На Ваганьковское отвезешь?

– Отвезу. А что там, на Ваганьковском?

– Высоцкий.

– Это который поет?

– Он и песни поет, он и горькую пьет, и еще кое-чем занимается, – жизнерадостно расмеялся толстяк, падая на переднее сиденье. – У меня два часа до поезда. Успеем?

– Смотря сколько будешь на могиле комкать.

– Минут пятнадцать надо потолкаться, потоптаться... А?

– Тогда успеем.

– А что это у тебя деньги на виду? – Толстяк показал на пачку сотенных. – Нехорошо. Деньги не любят открытого пространства. Они в темноте размножаются, в помещении тесном, в воздухе затхлом. От сквозняков дохнут. Улетучиваются.

– Согласен. – Здор сложил купюры пополам и сунул их в карман.

– И на пуговицу застегни, – напомнил толстяк.

– Застегну, – усмехнулся Здор. Он дождался знака, который позволил бы ему взять деньги. Визитку сунул в тот же карман. И тронул машину с места.

– Только мне и назад надо.

– Успеем.

– Две сотни хватит?

– Три.

– Две с половиной! – Толстяк напряженно уставился на Здора.

– Пусть так, – Здор почувствовал, что ему совершенно безразлично, сколько денег даст ему этот любитель Высоцкого, да и даст ли вообще. Откуда-то из прошлого дохнуло ветром холодным и тревожным. И леспромхоз, промерзшие стволы деревьев, снег по пояс, визг пил – все это вдруг приблизилось, окружило его, сдавило со всех сторон. Он, кажется, даже ощутил запах мерзлой древесины. – Ох, недоброе чует мое сердце, – пробормотал он вслух. – Ох, чует мое бедное сердце...

– Что? – насторожился толстяк. – Пробки на дорогах?

– Пробки бывают только в бутылках! – зло и весело ответил Здор. – Да и то не во всех. Только в полных, мужик, только в полных!

Проснулся я, когда солнце уже приблизилось к острым шпильям Карадага. Жара спала, и снова зазвучали в парке Дома творчества человеческие голоса. Некоторое время лежал неподвижно, глядя в потолок и прислушиваясь к звукам, которые просачивались сквозь двери лоджии. В соседнем ресторане уже загрохотал оркестр – к ночи он наберет такую силу, что будут дребезжать мои окна и колыхаться шторы. Будут истерично и натужно визжать женщины, уверенные в том, что наступила наконец и для них настоящая жизнь с застольями, ночными купаниями и танцами до упаду. Я уже убедился – визжат в основном полненькие такие, с тяжелыми ногами тетеньки на пятом десятке, дорвавшиеся до счастливых времен. Их кавалеры – молчаливые мужички с крутыми плечами и натруженными руками.

Рядом Донбасс.

Эти тоже дорвались.

Я вышел на лоджию.

Внизу, мимо подъездов прогуливались мамы с детишками. Они встревоженно, даже с каким-то благоговением поглядывали на окна – как же, Дом творчества писателей, здесь создаются художественные произведения. Как-то встретил плакатик... «Тише, тише, тише, тише! Кто-то где-то что-то пишет». В этом Доме давно уже никто не пишет.

Отписались.

Миновали счастливые времена, когда государству требовались их творения, а они эти творения поставляли обильно и в срок.

Пришли другие времена.

Прежние читатели уже не могут купить книг, не по карману, а пришедшие им на смену другие читатели потребляют исключительно криминальные романы. А эти криминальные романы тоже, оказывается, не столь уж простое дело, прежняя сноровка не выручает, опыт по созданию производственных произведений не годится совершенно. Далеко не каждому удастся нащупать тонкую грань между собственной ограниченностью и детективной занимательностью. Да, большие таланты терпят сокрушительные поражения и признают полнейшую свою несостоятельность. То-то они, бедные, озадачены, то-то они, бедные, сконфужены.

Слышал я здесь их причитания после третьего стакана каберне. Делился как-то один классик наболевшим. «Столько, говорит, кровящи подпустил в свою рукопись, столько трупов навалил почти на каждой странице! А какая, говорит, у меня постель в романе! Какая изысканная порнуха! Не говоря уже о том, что можно все тонкости мата изучать по каждой главе... И надо же – отвергли, подлые! Значит, маловато крови, значит, недостаточно трупов!» И слезы отчаяния, оскорбленности, слезы непонимания и обиды катились из его маленьких, но чрезвычайно выразительных глаз.

Мне нужно было продлить срок моего пребывания. Дом творчества был почти пуст, и я надеялся, что сложностей с этим не будет. Одноэтажное административное здание было рядом, и, заперев двери на все обороты ключа, я направился к директору.

Сумрачный прохладный вестибюль был пуст. Стены украшали две громадные картины. На одной были изображены Золотые ворота – продырявленная скала в море, на второй почему-то подмосковный заснеженный лес. Видимо, какой-то живописец расплатился картинами за свое здесь пребывание.

– Можно? – заглянул я к директору.

– Входи! – Леонид Николаевич гостеприимно махнул рукой. – Как отдыхается?

– С каждым годом все лучше.

– Коньячку?

– Можно. – Я присел к приставному столику.

Леонид Николаевич был плотен телом, улыбчив, подвижен. Что-то простецкое сквозило в его манерах, что-то простоватое – похоже, не всегда он был большим начальником, не всегда командовал отдыхом классиков и лауреатов.

Пока директор ходил к шкафу за коньяком, я по привычке, по прошлой своей, наверно, уже невытравляемой привычке, скосил глаза в его ежедневник. Телефоны, даты, имена...

И вдруг...

Изморозь, иначе не скажешь, изморозь пробежала зябкой волной по всему моему телу – я увидел в блокноте собственную фамилию. Не ту, под которой жил здесь, не ту, под которой мотался по белу свету, я увидел в блокноте обведенную овальной линией собственную свою истинную фамилию.

– Наш кокетельский поэт сказал потрясающие слова. – Леонид Николаевич возник из-за моей спины, поставил на стол бутылку, две маленькие хрустальные рюмки и сел напротив.

– Хорошие слова? – единственное, что я мог произнести в эти секунды.

– Я пью божественный напиток – коньяк с названием «Коктебель». Он будто драгоценный слиток... Ну, и так далее.

– Знаю, – сказал я. – Слава Ложко. Эти стихи выбиты в его ресторане на гранитной плите... Позвоню?

– Конечно, – Леонид Николаевич радушно махнул рукой в сторону телефона.

Я встал, обошел вокруг стола, сел в начальственное кресло, придвинул к себе телефон, заодно, как бы между прочим, придвинул ежедневник и, наугад потыкав пальцем в первые попавшиеся кнопки, склонился над блокнотом.

Так и есть.

Моя фамилия записана на странице, помеченной сегодняшним днем. Я редко слышу удары собственного сердца, но сейчас почувствовал. Частые, сильные удары, от которых, кажется, прогибалась грудная клетка.

– О! – воскликнул я радостно, тыча пальцем в ежедневник. – Этот товарищ тоже приезжает?

– Который? – Леонид Николаевич склонился над блокнотом, вчитался в мою фамилию и равнодушно махнул рукой. – Да нет... Кто-то спрашивал, не отдыхает ли у нас этот человек.

– И что? Отдыхает?

– Я обещал уточнить. Завтра опять будут звонить.

– Откуда?

– Даже не знаю. – Леонид Николаевич был беззаботен и разливал золотистый коньяк недрогнувшей своей мощной рукой. – Вроде междугородний звонок. А ты что, знаешь его?

– Встречались, – ответил я со все еще колотящимся сердцем.

– Водку пили?

– Было.

– Если водку пили, значит, почти родня. Знаешь, как говорят в Большом театре?

– А как говорят в Большом театре?

– Хочешь пить – пей. – Леонид Николаевич рассмеялся, поднял свою рюмку, мы чокнулись.

Все у нас получилось прекрасно. Коньяк оказался отличным, Леонид Николаевич наполнил рюмки снова, и жизнь продолжалась, мы весело обсуждали писательские проблемы, хохотали, хлопали друг друга по плечам, а за окном садилось солнце, спадала жара, слышались приморские людские голоса, которые, конечно же, звучали совсем не так, как звучат городские, учрежденческие, трамвайные, хотя могут принадлежать они одним и тем же людям.

Да, жизнь продолжалась, но была она уже другого цвета. В окружающую голубизну вдруг влились черные разводы. Они постепенно таяли, растворялись, исчезали, но общий тон неба и моря, общий тон околосолнечного слепящего пространства приобретал явно сероватый оттенок.

Это что же получается?

Вычислили, нащупали, засекли, установили, обнаружили?

Значит, все-таки услышал тогда кто-то мое неосторожное слово «Карадаг». Я хотел спросить у Леонида Николаевича еще что-то о звонившем, но остановился. Делать этого было нельзя – я уже задал все вопросы, которые казались бы уместными и естественными. Наверняка звонили не только сюда – звонили в пансионат «Голубой залив», на турбазу, в агентство по подбору частного жилья...

– Еще по глоточку? – спросил Леонид Николаевич.

– Нет, спасибо. Хорошего понемножку, – я поднялся. – Надо увидеться с одним человеком.

– Уже есть с кем? – усмехнулся директор.

– Надеюсь, – я неопределенно повертел ладонью в воздухе – дескать, как знать, как знать, что ждет нас этим вечером, какие неожиданности готовит для нас жизнь.

– Ну что ж, заходи! – Леонид Николаевич пожал руку и тут же забыл обо мне, потянулся к телефону – директорские обязанности не заканчивались никогда.

Я вышел на крыльцо, постоял некоторое время, раскачиваясь с пяток на носки. Руки мои были в карманах шортов, на глазах темные очки, на голове кепка с большим курортным

козырьком, на ногах поношенные шлепанцы – ничего не осталось от того роскошного хмыря, которым я был совсем недавно.

Сойдя с крыльца, я медленно пошел, никуда не сворачивая, и через полсотни метров уперся в бывший летний кинотеатр. Сейчас здесь показывали обезьян, змей, пауков и прочую нечисть. Посетителей не было, обезьяны протягивали сморщенные, натруженные ладошки, змеи смотрели немигающе, решив, видимо, про себя, что не все кончено, что они еще сумеют что-то там доказать, что-то там утвердить...

Короче, я испытывал нечто похожее.

Подобьем бабки.

Вывод первый – обо мне не забыли, меня ищут. Значит, кто-то получил заказ. И намерен этот заказ выполнить. Вряд ли он знает, что заказчика уже нет в живых. Это не имеет значения. Аванс получен – надо отрабатывать. Всегда найдется тот, кто заплатит остальное.

Вывод второй – он знает, где искать.

Вывод третий – я узнал об этом своевременно. Значит, не поздно еще кое-что предпринять. Звонок был междугородний, следовательно, у меня есть немного времени.

Но возникает еще одно соображение – звонил диспетчер, а исполнитель уже здесь. В таком случае он не знает меня в лицо и запросил поддержки. Однако он не может не знать обо мне совершенно ничего, какие-то зацепки у него наверняка есть. Может быть, их оказалось недостаточно, может быть, по этим зацепкам он не смог меня установить...

Да, это наиболее вероятный вариант.

Звонить наобум и спрашивать случайных людей, называя фамилию...

Это слишком зыбко.

Это слабо.

Это, в конце концов, непрофессионально. Так не делается. Человек высылается по адресу и отрабатывает то, что ему положено.

Вывод последний и главный – исполнитель уже здесь, в Коктебеле, но пока в растерянности. Я еще не на мушке.

Вполне возможно, я уже пил с ним, трепался о чем-то, как-то себя выдал. Но хорошо хотя бы то, что знаю наверняка – он здесь. Он бродит со мной по одним дорожкам, нежится на одном пляже, может быть, даже питается в одной столовой. Уж не сидит ли он со мной за одним столом?

В столовой за моим столиком оказался новичок.

– Не возражаете? – спросила Наташа.

– Нет, не возражаю.

– Он каждый год приезжает.

– Тем более, – сказал я. Если приезжает каждый год, значит, его-то опасаться не надо.

Напротив меня сидел человек с голубыми блеклыми глазами, худощавый, лысоватый, с мозолистыми ладонями. Но это была не натруженность землекопа или могильщика, скорее натруженность спортсмена. Взгляд цепкий, немигающий, пристальный. У исполнителей таких не бывает. Исполнители благодушны в общении, расслаблены и снисходительны. Они-то знают, что последнее слово всегда за ними. У них нет надобности что-то доказывать, отстаивать, утверждать. Они улыбочиво и охотно соглашались со всем, что им говорят. Сочувственно и согласно кивают и уже высматривают на тебе ту самую точку, то самое местечко, в которое удобнее всего...

– Алевтин, – мой сосед протянул руку через стол. – Это не фамилия. Это имя.

– Очень приятно. Евгений.

Я уже давно заметил, что представляться чужим именем всегда легче и проще, чем собственным. Называя истинное свое имя, ты уже берешь на себя какую-то ответственность, уже

вынужден отвечать за слова и поступки. А так, что бы ни сморозил, как бы ни поступил, к тебе это не пристанет, как не пристанет чужое тебе, может быть, даже ненавистное имя.

– Или просто Лева, – продолжал представляться сосед.

– Со мной можно поступить точно так же. Каждый раз произносить Евгений... Тягостно, долго, глупо.

– Согласен! – весело подхватил мой новый знакомый и принялся за свой ужин. Котлету он резал ножом, старательно укладывал отрезанный кусочек на вилку и уже с вилки захватывал губами. Точно так же он поступал и с кашей. Смотреть на него было занято – на кончик ножа он подцеплял ком каши, перекладывал его на вилку и только после этого отправлял в рот. По его представлениям, это, очевидно, должно было говорить о хорошем воспитании и знании изысканных манер. Из чувства противоречия я к ножу не притронулся вовсе. Передавливал котлету вилкой, вилкой загребал кашу и прекрасно при этом себя чувствовал.

– Надолго? – спросил я.

– Две недели. Больше нет смысла. Погода испортится, похолодает, задуют осенние ветры, и Коктебель, как таковой, исчезнет.

– Журналист?

– Как догадался?

– Писатели более церемонные, самоуглубленные, преисполненные величия и неповторимости.

Алевтин весело, даже с какой-то надсадностью рассмеялся – ему было приятно слышать о писателях нечто уничижительное. Видимо, не всегда отношения с писателями, если таковые и были, складывались у него легко и просто.

– Но книги у меня есть. – Алевтин поднял вилку зубьями вверх, как бы подчеркивая значение своих слов, дескать, и мы не хухры-мухры.

– Да-а-а? – удивился я, наполнив свой голос восторгом и обожанием. – О чем?

– Как тебе сказать, – он раздумчиво подцепил ножом и положил на вилку комочек каши, отправил ее в рот, не торопясь принялся жевать. – Всевозможные чрезвычайные проявления человеческой жизни.

– Но это опасно? – прикинулся я полным дураком.

– Случается, – кивнул он с некоторой скорбью. Замер на какие-то секунды, и его остановившийся взгляд, похоже, был устремлен в прошлое, где было ему тяжело, где подстерегали опасности и жизнь висела на волоске. – Афганистан, Чечня, Чернобыль – это все этапы моего пути, – Алевтин печально улыбнулся, чуть развел ладони в стороны, мол, тут уж ничего не изменить.

– Завидная судьба!

– Знаешь, завидной она стала, когда я убедился, что выжил.

– Таких людей встретишь не часто, – я из последних сил подыгрывал моему соседу, чувствуя, что это у меня получается – любой восторг, самый хилый, он заглатывал не раздумывая.

– Могу похвастаться, – он цепко посмотрел на меня, словно прикидывая – стоит ли делиться заветным. – Могу похвастаться – я считаю участником Афганской войны, имею удостоверение чеченской кампании, получаю пособие как пострадавший от Чернобыльской катастрофы, а кроме того – являюсь почетным космонавтом.

– А так бывает?

– Со мной вот случилось, – он недоуменно пожал плечами, словно удивляясь собственной судьбе. – Представляешь, вызывает редактор, Анатолий Владимирович, и говорит... Предстоит, говорит, небольшая командировка... На орбиту.

– И что?

– Пришлось слетать. Ненадолго, правда, недели полторы был с ребятами. Сдружились мы – отпускать не хотели, запрос посылали в Центр управления полетами... Но, сам понимаешь...

Пришлось вернуться. Но на Землю-матушку насмотрелся из космоса вволю. Уж теперь-то я знаю, где мы живем.

– А это... Чернобыль? Неужели облучился?

– Врачи не признают, но я-то чувствую, – Алевтин смотрел сквозь меня, смотрел прямо в радиационное пространство и, похоже, видел себя, неукротимого, в недрах четвертого блока Чернобыльской станции. – Повидал я кое-что на этой земле.

– Притомился?

– С чего ты взял?

– Ну, если приехал сюда дух перевести, на камушках полежать, в волнах поплескаться...

Значит, возникла надобность?

– Знаешь, возникла! – охотно подхватил он, уловив в моих словах почтение, признание его усилий. – Захотелось смены впечатлений.

– Понимаю, – кивнул я. – Как это мне близко!

– А сам откуда?

– Кемерово. – Это был город, о котором я не знал ровным счетом ничего. Вроде угольный край, вроде сибирский, кажется, там что-то с шахтерами происходило.

– Писатель?

– Журналист.

– Ага, – кивнул он, подбирая губами с вилки очередной комочек каши. – Наш человек.

О чем пишешь?

– Криминальная революция, нашествие преступных группировок, заказные убийства, – на эту тему я мог говорить бесконечно с прекрасным знанием материала и таких подробностей, о которых наверняка ничего не слышал мой новый друг Алевтин.

– Как и везде, – сочувственно произнес он. – Как и везде, – повторил Алевтин, кивая и пережевывая кашу. – Вроде и печально, но, с другой стороны, какой всплеск чувств, впечатлений, потрясающих историй, судеб, характеров!

– Может быть, может быть, – мне подобные мысли не приходили в голову, и ответить сразу я не смог. Но что-то во мне воспротивилось, пришло ощущение, что истина в другом месте, что его слова если и не фальшивы насквозь, то какие-то надуманные, произнесенные для красоты разговора. Уж кому-кому, а мне-то хорошо известны и чувства, и судьбы, и характеры криминальной жизни.

– Не согласен со мной? – напористо спросил Алевтин, припадая грудью к столу, чтобы поглубже заглянуть мне в глаза и высмотреть там как можно больше, даже такое, что и мне самому неизвестно.

– Мне кажется, что суетная, насыщенная жизнь...

– Только такая и может называться жизнью! – воскликнул Алевтин с каким-то непонятным подъемом и даже глазами сверкнул.

– Возможно.

– Извини, я тебя перебил. – Он приложил к груди ладошку, натруженную штангами, штурвалами, скафандрами, перископами и чем-то там еще.

– Да? – удивился я. – А о чем шла речь? – Когда меня перебивают, я не пытаюсь закончить. Не потому, что так уж обидчив и самолюбив, вовсе нет. Причина другая. Просто оборванные слова уже не имеют смысла. Они были уместны именно в эту секунду разговора, когда в воздухе еще звучало эхо от предыдущих слов, сказанных кем-то. А когда прошло время и о тебе вспомнили, позволили закончить начатое... Оно уже никому не нужно и не представляет никакого интереса. И прерванные анекдоты я не заканчиваю по той же причине. И до споров, когда тебя яростно перебивают, доказывают, убеждают, я не охотник. Мне кажется, еще никто никого ни в чем не убедил. Человек может принять чужую точку зрения, но вовсе не потому, что с ней согласился, скорее, ему просто надоел спор.

– Ты начал говорить о жизни, – напомнил Алевтин.

– А, да... Так вот, мне кажется, что суетная жизнь как раз и не располагает к чувствам и переживаниям. Не до этого. Справиться бы с событиями, поспеть за переменами. А отпереживаем, отмаемся, отчувствуем как-нибудь потом, когда выпадет свободное время.

– Ошибаешься! – закричал Алевтин с таким азартом, что два-три постояльца Дома творчества, которые к этому времени расположились в разных углах столовой, посмотрели на нас с некоторым любопытством. И даже полубанкир-полукиллер махнул полноватой рукой из темного своего угла, где он сидел так, что мог отстреливаться, не опасаясь удара с тыла.

– Привет, – я тоже помахал ему рукой.

– Кто это? – спросил Алевтин.

– Киллер.

– Кто?!

– Наемный убийца. Просаживает гонорар в этих тихих местах. Если нужен – могу познать. Берет немного, расплата по факту.

– Это как – по факту?

– После выполнения заказа.

– А если я откажусь платить?

– Тогда тебя он уберет бесплатно.

– Крутой мужик, – словоохотливость Алевтина заметно снизилась. – Опасный.

– Почему? – Я пожал плечами. – Ничуть. Соблюдай законы бытия. Вот и все. Никто тебя не тронет.

– Какие законы?

– Не укради, не обмани, не предай... Расплатись своевременно и сполна. Простые законы человеческого общения. Только в обычной жизни за невозвращенный долг ты кого-то матом посылаешь или в подушку рыдаешь. А здесь все несколько жестче. Но законы те же. Как и тысячу лет назад.

– В страшное время мы живем, – проговорил Алевтин, глядя в густую зелень за окном.

– Время всегда было такое. И всегда будет таким. Пока есть мужчины и женщины, богатые и бедные, пока есть блуд, любовь и деньги. Только сейчас нашему брату журналисту позволили выплеснуть все это на страницы газет, на экраны телевизоров...

– Я вижу, наскучили тебе криминальные темы?

– Ничуть... Хочешь случай расскажу?

– Ну?

– Пришел мужик к другу в гости. Выпили. Не хватило. Хозяин пошел за бутылкой. Возвращается – друг трахает его жену. Заглянул в свою родную спальню, а они там враскорячку. Он тихонько прикрыл дверь, вышел на кухню, открыл бутылку, выпил. Подождал, пока в спальне перестанут побряхивать, пока закончат. Входит на кухню друг. В трусах. Спрашивает – принес водки? Отвечает – принес. И наливает ему. Тот взял стакан, запрокинул голову, чтобы выпить. Хозяин преспокойненько в незащитное его, зацелованное горло всаживает кухонный нож. Хороший нож, немецкий. Больше тысячи рублей стоит. Ручка черная, с заклепками, лезвие в сечении клином. Массивный такой нож, у самой ручки широкий, сантиметров пять, наверно, не меньше. Ну, может быть, четыре, – я продолжал рассказывать о ноже, приводя все новые и новые подробности, будто происшедшее не столь уж и важно, а главное – качество ножа, его внешний вид, название фирмы и прочее.

– И что? – не выдержал наконец Алевтин.

– Ничего. Они с женой до сих пор пользуются этим ножом. Нож-то хороший, я сам его подарил.

– А тот? Его приятель?

– Помер. Тут же, на полу. Подергался немного, будто от наслаждения неземного, которое испытывал совсем недавно на чужой бабе. И затих.

– И что? Чем все кончилось?

– Живут, как и прежде.

– Морду жене набил?

– Нет. Только спросил – ну и как?

– А она?

– Средненько, говорит. Ничего, живут. Когда нож на столе оказывается – оба улыбаются, затаенно так, будто вспоминают что-то забавное.

– А труп?

– С балкона сбросили.

– А кровь?

– Смыли.

– И им... Ничего?

– А что им? Семья только укрепилась, они теперь как бы повязаны общей тайной.

– Подожди, подожди! – зачастил Алевтин, отчего-то заволновавшись. – Но ведь должно быть следствие, милиция, обыск... Ничего этого не было?

Я допил свой компот, махнул рукой полубанкиру Андрею – он уже уходил из столовой, проводил взглядом молодящегося криворотого писателя с кожаным ремешком через лоб и с теннисной ракеткой под мышкой.

– Слушай, ты не ответил! – напомнил Алевтин.

– Насчет милиции? А... Я забыл сказать – у них шестой подъезд, рядом мусорка. Они спустились вниз и запихнули труп в мусорный ящик. Мужик тот, сластолюбец, тощеватым оказался, поднять его было нетрудно, тем более вдвоем. А увозят ящики рано утром, еще затемно. Все было проделано очень хорошо.

– Надо же.

Облученный жизнью журналист Алевтин, взяв стакан и отставив в сторону мизинец, что опять же должно было говорить о тонком воспитании и знании хороших манер, принялся прихлебывать мутноватый компот – причмокивая губами и со взором, обращенным куда-то внутрь. Видимо, сначала он проникался вкусом, а потом наслаждался послевкусием.

Для меня было ясно – не он.

Я вышел из столовой и сразу оказался в толпе – небольшая площадь была, как обычно к вечеру, забита народом. Здесь торговали, пили, приплясывали – жизнь в Коктебеле хотя и затухала к осени, но все-таки продолжалась. Мимо пропорхнула стайка уже знакомых мне загорелых девочек с пляжа, но меня они не заметили, я стоял в глубине, под балконом, нависавшим над входом в столовую. Вид у девушек был озабоченный, даже заговорщицкий – видимо, намечался неплохой вечерок.

Наверное, так бывает в жизни, не часто, но случается – все получалось, все стыковалось, недостающие люди, даже недостающие деньги вдруг появлялись неизвестно откуда, как бы из ничего. Словно какие-то таинственные силы взялись помогать и помогали неустанно, изо дня в день. Стоило возникнуть самой маленькой трудности – она тут же испарялась, исчезала сама по себе. Все было настолько естественно, что ни у кого мысли не возникало о чем-то необычном, никто даже не заподозрил, что происходит нечто странное, что так быть не должно, как не должен уноситься ввысь подброшенный камень. Да, он летит, удаляясь от земли, но никому и в голову не приходит, что это будет продолжаться бесконечно. Совершенно очевидно, что камень будет замедляться, что рано или поздно на какое-то короткое время вообще остановится, застынет в воздухе, а потом начнет падать вниз, все быстрее, быстрее, пока не грохнется в пыль, в грязь, в болото, на кучу таких же камней и уже тогда застынет навсегда.



А пока камень уносился в небо.

Выговский выполнил свое обещание и позвонил Здору откуда-то из северных лесов – у него все шло отлично. Он договорился в местном леспромхозе о покупке древесины, начальник какого-то лагеря тоже пообещал подключить своих эков к лесоповалу, а на заброшенной железнодорожной станции его заверили, что готовы отправить эшелоны с лесом хоть к черту на рога.

Здор встретил Выговского на Ярославском вокзале. Ничего, казалось бы, не изменилось ни в их внешности, ни во взаимоотношениях – чужие, едва знакомые люди, которые и провели-то вместе что-то около часа. Водитель и пассажир. Но странное дело – они встретились как давние соратники, которых связывали общие дела, общие планы и надежды.

Признавая за Выговским не подтвержденную еще силу, Здор распахнул перед ним дверцу машины.

– Прошу!

Выговский ничуть не удивился, принял как должное, более того, будто и не заметил этого не то лакейского, не то куражливого поступка Здора. А тому и не надо было, чтобы это как-то отмечалось или замечалось.

– Все в порядке? – спросил он, включая мотор.

– Да, – рассеянно ответил Выговский, все еще пребывая, видимо, в вагонной тряске. – А здесь? Жизнь не остановилась?

– Бьет жизнь. Ключом. По одному месту.

– Это хорошо, – ответил Выговский. – Значит, жизнь продолжается. И будет продолжаться еще некоторое время.

Вроде и простые слова, самые что ни на есть обычные, но, оглядываясь из будущего, в них легко увидеть и нечто роковое, чуть ли не мистическое, когда многих уже не стало, а выжившие чувствовали на себе какую-то угнетенность, а то и обреченность. Но до этого еще далеко, так далеко, что можно было спокойно верить – никогда не наступит время смертей, крови, убийств. Нет-нет, такого не случится, и этот вот солнечный день, полный успеха и победного состояния духа, будет продолжаться всегда.

– Куда едем? – спросил Здор.

– К тебе.

– Понял.

Тоже какой-то странный разговор. Никогда Здор не приглашал к себе этого едва знакомого человека, а Выговский всего минуту назад думать не мог, что вот так легко напросится к Здору.

– У тебя никого нет в Новороссийске? – спросил Выговский.

– Нет... Но у моего соседа есть вроде кореш в тех краях... – утверждаясь в своих смутных воспоминаниях, ответил Здор. – Если я ничего не путаю, то у него в Новороссийске не просто кореш, а двоюродный брат.

– И чем он занимается?

– В порту работает.

– Кем? – Голос Выговского дрогнул.

– Если не ошибаюсь... Если ничего не путаю...

– Ну! Ну! – поторапливал Выговский, которого вдруг охватило нетерпение, он вдруг осознал, что от ответа Здора сейчас многое зависит, что в эти самые секунды, пока они стоят перед красным светофором, решается многое, может быть, решается все.

– Сдается мне, что охранником.

– И что же он охраняет? – нервно спросил Выговский.

– Порт, – Здор пожал плечами – действительно, что можно охранять в порту.

– Ладно, – кивнул Выговский. – В конце концов, это неважно. Как фамилия твоего соседа?

– Мандрыка.

– О боже!

– Он не виноват. Папа с мамой ему такое устроили. Но это только с непривычки. Посмотришь на него и сразу поймешь – другой фамилии у него быть не может.

– Пьет?

– Только шампанское.

– Тогда мы сойдемся.

– Меня возьмете?

– Куда?

– В вашу компанию, – Здор усмехнулся.

– Ты уже взят. Будешь проезжать мимо магазина – останови. Надо купить шампанского.

Мандрика будем угощать.

– Его фамилия Мандрыка, – поправил Здор негромко, но твердо. С ударением на букве «ы». Видимо, с соседом отношения у него были уважительные.

– Шутки по поводу своей фамилии он не допускает?

– Упаси боже. Вернее, так... Пошутить он может. Но никогда об этом не забудет.

– Завтра вылетаем в Новороссийск.

– Зачем? – дернулся Здор.

– С охранником будем знакомиться.

– Человечек-то он... Вроде того, что мелковат, – Здор попытался отговорить Выговского от столь решительного поступка.

– Таких не бывает. Ты вот тоже мелковат?

– Как сказать, – протянул Здор многозначительно. – Смотря по чему судить.

– По заднице предлагаешь?

– Ха! – весело ответил Здор, почувствовав, что ничего не отменяется, все остается в силе, и «Мерседес» вполне может оказаться у него в гараже. А ведь боялся поверить, маялся и терзался – вдруг розыгрыш, вдруг дурацкая хохма, вдруг подлянка. Впрочем, подлянка еще возможна, она всегда возможна, сколько бы ты ни прошел с человеком.

– Зубы тебе менять надо, – после долгого молчания проговорил Выговский, глядя на дорогу.

– Это чем же тебе мои зубы не по нраву? – дернулся Здор, как от удара.

– Плохие зубы, старик, это...

– Ну?!

– Это плохо. От тебя зэком несет за километр.

– Поищи другого.

– Заткнись. Тебе люди не поверят, понял? С тобой дела никто не захочет иметь.

– Это почему же?!

– Потому что ты фиксатый.

– А у тебя все зубы на месте?

– Не все, – спокойно проговорил Выговский, все так же неотрывно глядя на дорогу. – Но этого никто не знает. Кроме меня. И еще, старик, открою одну тайну... Шарон Стоун не любит фиксатых. Их, честно говоря, никто не любит. Возвращаемся из Новороссийска – отведу тебя к одному мужику. Он за месяц с тобой разделается.

– Это в каком смысле?

– Вставит приличные зубы. Такие, что твоя Шарончиха ничего и не заподозрит. Она просто обалдеет от твоей улыбки.

– Сказал слепой – посмотрим, – буркнул Здор.

– И еще, старик... Забывай потихоньку свои зэковские прибаутки. Не потому, что они мне не нравятся. Я стерплю. Я все, что угодно, стерплю. Но мы затеваем дело, которое требует других слов. Лучше уж просто молчать, чем кидаться такими хохмами. Сказал слепой – посмотрим, сказал немой – расскажем... Не надо. Не обижайся, я говорю по делу.

– Молчать так молчать. – Здор дернул плечом, но видно было – обиделся. И, заметив это, Выговский примиряюще похлопал его по коленке.

– Оружие есть?

– Что?!

– Слушай, что ты все дергаешься? Что ты от каждого слова вздрагиваешь? Держи удар, старик. Держи удар. Какой-то ты пугливый. Всегда такой?

– Нет у меня оружия.

– Ни холодного, ни горячего?

– Монтировка вон под ногами. Хочешь, назови ее горячей, хочешь – холодной. Ты как хочешь назови... Может, для кого-то летная погода, может, это проводы любви, – нескладно пропел Здор и весело глянул на Выговского, давая понять, что не обижается. – А что, нужно оружие? Достанем.

– Не надо.

– Смотри, а то могу.

– Не надо, – повторил Выговский. – Хорошего не достанешь, а плохое нам не нужно.

– Почему хорошего не достану? – опять взвился Здор и заиграл тощеватыми своими желваками.

– Хорошее оружие – это значит чистое, немеченое, незапятнанное, не замешанное в кровавых делах, – медленно, терпеливо и негромко произнес Выговский. – Можешь такое достать? В заводской смазке?

– Подумать надо, – присмирел Здор.

– Думай, куме, думай. А погода и в самом деле летная, – задумчиво произнес Выговский. Приблизившись к лобовому стеклу, он всмотрелся в сероватое от летнего зноя небо. – Может, ты и прав, может, это проводы любви.

Слова эти показались Здору странными, но ответа не требовали, и он озадаченно промолчал. Не все говорил Выговский, отделялся какими-то намеками, уводящими мысли Здора в сторону опасную, непредсказуемую, но пока еще терпимую. И он решил потерпеть, тем более что не было сказано ничего такого, что его к чему-то обязывало.

Ошибался он, ошибался.

Не знал, что невинные слова затягивают в воронку непредсказуемости куда сильнее, нежели самые страшные, но открытые клятвы. Может быть, Выговский действительно был силен умом и духом, может, просто мозги пудрил, подбирая слова ловкие да лукавые, но получилось у него, получилось – мысли Здора шли теперь в нужном направлении.

А Новороссийск им не понравился, обоим не понравился. Каким-то пустоватым казался. Громадные проспекты больше напоминали пустыри, ветер гнал по улицам обрывки бумаг, пластмассовые стаканчики, целлофановые пакеты. Людей почти не было видно, будто попрятались они в ожидании очередного обстрела, будто до сих пор продолжались эти обстрелы и бомбежки. Памятники героического прошлого – облезлые, ржавые, с отвалившимися плитами – казались попросту жалкими, будто оставили их прежние цивилизации, будто оставили их народы, навсегда исчезнувшие с лица земли.

А там как знать, как знать – тот ли народ живет сейчас на бескрайних просторах нашей родины, тот ли, который победил на Куликовом поле, который гнал Наполеона с полными штанами дерьма, который сломал хребет Гитлеру...

Кто знает.

Уж больно забит он, угодлив, заискивающ.

Потому и памятники в таком виде.

Похоже, нет уж того народа, которому они поставлены. Исчезли греки, ушли в небытие египтяне, вот и славяне потихоньку растворяются в темной, вязкой массе пришлых племен, которых они сами же и вскормили на свою голову. А ублюдки с непроизносимыми фамилиями неустанно клеймят их с экранов за какие-то несусветные грехи и пороки. И надо же – верят, каются, лебезят, обещают исправиться. Нет, это уже не те люди, которые в пыль и прах громили самых крутых вояк.

Не те, не те, не те...

Выговский постоял перед железнодорожным вагоном, изрешеченным снарядами, минами, осколками до какого-то невообразимого состояния, покачался с носков на каблуки, обошел вокруг вагона.

– А ничего досталось ребятам, – проговорил он наконец. – Крутовато досталось...

– Шестнадцать тонн снарядов и мин выпущено на каждого, – прочитал Здор на табличке.

– Нам бы таких ребят, а? – весело обернулся Выговский к Здору. – Человека три, ну, может быть, пять, а? Вполне бы хватило.

– Для чего? – осторожно спросил Здор.

– А для всего! – не задумываясь, ответил Выговский. – С ними что угодно можно было бы сделать. Что угодно, что угодно! – повторил он несколько раз и, ничего больше не добавив, опять оставил Здора в опасливом недоумении. – Знаешь, что я тебе скажу, – обернулся Выговский с переднего сиденья такси, когда они уже ехали к Мандрыке, – я вот что скажу... Они бы не потребовали с меня ни «Мерседеса», ни Шарончихи.

– Они бы потребовали другое, – с неожиданной жесткостью сказал Здор. – И ты бы им этого дать не смог. Не смог бы ты с ними расплатиться. Ни «Мерседесом», ни Шарончихой.

– И чего бы они потребовали?

– Сам знаешь.

– Может быть, – легко согласился Выговский. – Очень даже может быть. Но мечтать-то никому не запрещено, верно?

– Мечтай, – равнодушно протянул Здор.

Выговский резко обернулся назад, изумленно посмотрел Здору в глаза, и тот взгляда не отвел, не дрогнул, понимая, что этот разговор, эту маленькую схватку выиграл все-таки он.

И Выговский это понял.

– Как скажешь, – пробормотал он, глядя в ветровое стекло. – Как скажешь.

За окном мелькала жесткая рябь моря, буксир тащил через бухту какую-то посудину, на дальнем берегу просматривались зыбкие, дрожащие в знойном мареве контуры портовых кранов.

И Мандрыка им не понравился, обоим не понравился. Был он молчалив, смотрел исподлобья, сутулился, как бы закрывался от удара. Водку на стол ставил молча, молча умудрился отправить из комнаты жену, которая выглядела откровенно испуганной – все-таки приехал бывший зэк и ждать от него чего-то хорошего, по ее мнению, не приходилось. А Выговский был легок, улыбчив, с любопытством рассматривал фотографии на стене, любовался видом из окна, рассказывал, как они провели день, как познакомились с Новороссийском, увлеченно врал, что город его потряс, показался ему прекрасным и – о, как счастливы люди, которые живут здесь постоянно!

Здор озадаченно склонил голову к плечу да так и замер в немом изумлении – он не понимал, зачем врать на такую невинную, в общем-то, тему.

Наконец Мандрыка расположил на столе и водку, и помидоры, нарезал какой-то колбасы, которую Выговский сразу определил как плохую, и это еще раз убедило его в том, что Новороссийск – паршивый городишко.

– Прощу, – Мандрыка сделал невнятный жест рукой и первым сел к столу.

– Охотно, – сказал Выговский. Он сбросил светлый пиджак на кушетку и сел к столу, подкатав на ходу рукава рубашки.

– Освободился, значит? – спросил Мандрыка, подняв глаза на Здора. – Давно?

– Уж успел забыть.

Всего несколько слов, пустых, в общем-то, ничего не значащих, но Выговскому их оказалось вполне достаточно. Он понял, что Мандрыка уверен в себе, слюнявить, смущаться и теревить носовой платок не будет, что Здора уважает не слишком и не церемонится с ним, но и Здор не чувствует никакой зависимости от своего дальнего родственника не то по жене, не то по первому мужу жены, не то просто по каким-то соседским связям.

– Это хорошо, – кивнул Мандрыка и разлил всем по полстакана водки. – Плохая память спасает нас от дурных воспоминаний. Воспоминания должны быть счастливыми и радостными.

– А у меня и от зоны остались только счастливые и радостные впечатления, – Здор твердо посмотрел Мандрыке в глаза.

– За это и выпьем, – ответил тот. – Будьмо!

– Не понял? – спросил Выговский. – Будьмо – это что?

– Краткое пожелание хорошей жизни. Если наш тост услышат высшие силы, мы будем удачливы и здоровы, будем вместе и навсегда, будем плодиться и размножаться, радоваться жизни и веселить своих близких!

И Мандрыка выпил до дна свой стакан.

– Больше всего мне понравилось, что мы будем вместе и навсегда, – ответил Выговский и тоже выпил до дна, сразу поняв, что Мандрыка – это тот человек, который очень болезненно воспринимает, когда собутыльник не допивает. Так и есть – Выговский поймал неуловимо быстрый взгляд Мандрыки, брошенный из-под кустистых бровей на его стакан.

– Значит, говорите, на отдых приехали? – спросил Мандрыка, отправляя в рот кусок вареной колбасы.

– Нет, – быстро ответил Выговский. – Приехали по делу. Срочному, важному, неотложному.

– О! – уважительно протянул Мандрыка. – Это хорошо. Настоящие дела всегда важные и неотложные. Другими и заниматься не стоит. Верно говорю?

– Полностью согласен, – Выговский для убедительности прижал ладонь к груди.

– Простите за любопытство, – Мандрыка глянул Выговскому в глаза. – Вы там познакомились? На зоне?

– Раньше, – ответил Выговский, не дав Здору времени даже открыть рот.

– А сюда, значит, пожаловали...

– К тебе.

– О! – с прежней уважительностью протянул Мандрыка. Но была все-таки на этот раз в его голосе некоторая, почти неуловимая, опаска, настороженность. – Остановиться хотите? Комната нужна? С видом на море? С питанием?

– Кончай трепаться! – не выдержал Здор.

– Порт нужен, – сказал Выговский.

– Весь? – поинтересовался Мандрыка.

И снова разлил по половине стакана водки.

– Можно весь. Согласны на половину. Не откажемся от самой малой части.

Некоторое время Мандрыка сидел, нависнув над столом, над своим стаканом. Поставив локти на стол, он принял позу, в которой, наверно, мог просидеть и час, и два. То ли он не придавал значения словам Выговского, то ли не услышал их, то ли думал над тем, что ответить, но ни одно из этих предположений не оправдалось.

– Слушаю, – наконец обронил он с нетерпеливостью в голосе. – Слушаю, – повторил уже несколько раздраженно.

- Лес для турок, – сказал Выговский.
- Как я понимаю... Без формальностей?
- Правильно понимаешь.

Мандрыка как бы вновь увидел свой стакан с водкой, не чокаясь, в задумчивости выпил его, сунул в рот четвертушку помидора и принялся не торопясь пережевывать, все так же уставясь в стол, будто видел на клеенке некие советы, которым должен следовать. Потом тяжело, с надрывом вздохнул, осознав тяжесть свалившихся на него забот, из-под бровей посмотрел на Здора, на Выговского.

- Много леса?
- Да, – ответил Выговский.
- Все, что ты заготовил? – усмехнулся Мандрыка, подняв глаза на Здора.
- Все, что он заготовил, нам не вывезти, – Выговский опять опередил Здора, не дав ему ответить. Понял, что тот опять сорвется на дерзость и непочтительность.
- И все станем богатыми? – спросил Мандрыка.
- Мы все станем богатыми, молодыми и красивыми.
- Поздновато хватились.
- Нет, в самый раз.
- Кто вывозит?
- Турки.
- Куда?
- Их проблемы.
- Так... Хотя какие-то документы будут?
- Будет все, что необходимо.
- Это хорошо, – Мандрыка помолчал. – Это хорошо, – повторил он с тяжелым вздохом. – Еще выпьешь?
- Нет, хватит, – ответил Выговский. – Есть такой человек?
- Найдется.

На следующий день они сидели в этой же комнате, за этим же столом, и на столе стояла неизменная бутылка водки, были нарезаны помидоры и все та же несъедобная колбаса, которую можно было проглотить, лишь забив все ее запахи толстым слоем горчицы. Мандрыка, видимо, догадывался, какое впечатление производит на гостей его колбаса, и предусмотрительно поставил на стол баночку свежей горчицы, за что Выговский был благодарен ему более всего. Здор сидел, как и вчера, напряженно распрямившись за столом. На хозяина не смотрел, похоже, его интересовала лишь пыльная листва за окном.

- Ты что, лом съел? – спросил Мандрыка, усмехнувшись, и по этой его улыбке Выговский понял – хорошие новости! Сегодня Мандрыка был вообще улыбчив, даже снисходителен.
- Чем эту твою колбасу есть, лучше уж в самом деле лом проглотить.
- Приезжай со своей, – благодушно проворчал хозяин. – Хорошие гости и с водкой своей приходят. Хорошие гости, – уточнил Мандрыка еще раз.
- Ладно, хватит вам, – прервал перепалку Выговский. – Будет вам и водка, и шампанское... Все будет. Только не сразу. Ну? – обернулся он к Мандрыке.
- Все в порядке, – ответил тот, невозмутимо разливая водку в стаканы.
- Значит, разговор состоялся?
- Какой разговор, ребята! – Мандрыка откинулся на спинку стула и посмотрел на гостей в упор, уже не пряча глаза за густыми бровями. – Кончились разговоры. Принято решение. Оно положительное. Люди готовы включиться в работу.
- Так, – протянул Выговский, пытаясь понять второй смысл в словах Мандрыки, а о том, что второй смысл есть, он догадался сразу. Слишком хорошо тоже нехорошо – это он знал. А

все сказанное Мандрыкой как раз и было тем, что называется «слишком хорошо». – Так... И вы можете отправить железнодорожный состав леса в течение... Ну, скажем, недели?

– А чего тянуть? – удивился Мандрыка. – День. Нам нужен на это день. Чем меньше твои бревна будут болтаться тут у всех под ногами, тем лучше для всех нас.

– Сколько? – спросил Выговский. Он сразу все понял, едва услышал коротенькое словечко «нас».

– Нисколько, – Мандрыка пожал тяжелыми, литыми плечами.

– Не понял?

– Все ты, парень, понял, – усмехнулся Мандрыка. – Причем понял правильно. Мы в деле.

– Мы – это кто?

– Я и тот человек, который берется нам помочь.

И опять, опять царапнуло Выговского это словечко – «нам».

– Но мы об этом не договаривались.

– А в чем дело? Договоримся.

– И сколько вы хотите процентов?

– Никаких процентов. Все на равных. Участок, который мы обеспечиваем... Поважнее всех прочих. Вместе взятых. Но мы не жлобы, мы не требуем слишком много... А на равных – это справедливо. Разве нет?

– Я должен посоветоваться.

– С кем? С ним? – Мандрыка кивнул на Здора. – Я и так вижу – он согласен. Когда работа идет на равных, когда на равных делятся деньги – все согласны. Я вот еще что скажу тебе, парень... Поторопись. Такое положение не может длиться слишком долго. Год... Два... Хотя два – вряд ли. Год. А потом спохватятся.

– Кто?

– Все спохватятся. На всех уровнях. А пока – можно. Так что готовь свои составы. Заказывай суда, договаривайся с турками, шмурками – с кем угодно.

Перед Выговским сидел совсем не тот человек, которого он увидел в первый день. Это уже был не замухранный, с прячущимся взглядом, сутуловатый охранник ли, вахтер ли, ночной ли сторож при общественном туалете. Нет, откинувшись на спинку стула и подняв голову, ему в глаза смотрел человек, прекрасно знающий себе цену и, похоже, неплохо разбирающийся в портовых хитросплетениях. Недооценил он Мандрыку, явно недооценил.

– А этот твой человечек... – начал было Выговский, но Мандрыка перебил:

– Он будет через десять минут.

– Да? Ты знал заранее, что я приму ваше условие?

– Конечно. У тебя нет другого выхода.

– И я не найду других людей?

– Почему же... Найдешь. Но они запросят больше.

И он пришел, этот человечек, как назвал его Выговский. Ровно через десять минут мимо окна скользнула тень, в коридоре раздались шаги, дверь открылась без стука, и он возник на пороге – круглолицый, улыбающийся, в сером костюме и при синем галстуке. Чуть полноватый – таких раньше в руководство набирали, они через какое-то время секретарями становились, директорами, такой тип людей требовался во многих областях народного хозяйства – от культуры до металлургии.

– А вот и я! – сказал он, показав ряд зубов, белых, ровных, уходящих в полумрак рта и, кажется, даже продолжающихся где-то там, в глубинах румяного организма. – Борис Петровичем зовут. А фамилия простая и непритязательная – Гушин. От слова «гуща». Есть бурда, баланда, а есть гуща. Так вот я – Гушин.

– Забыть невозможно, – вынужден был согласиться Выговский и, поднявшись из-за стола, протянул руку.

Прежде чем выйти из номера, я достал из-под матраца пистолет, разобрал его на столе до последней детали, протер, снова собрал, несколько раз нажал на курок – все было в полной готовности. После этого я заново зарядил обойму, вставил в рукоятку, передернул затвор, послал патрон в ствол, и опустил кнопку предохранителя.

Наверно, всего этого можно было и не делать – пистолет был в порядке, и я знал об этом. Но простые, необязательные действия по разборке-сборке внушали какую-то уверенность или уж, во всяком случае, надежду на то, что я смогу оказать сопротивление, а может быть, даже успею выстрелить первым. Вот к чему я стремился всегда, справедливо полагая, что важнее всего в жизни именно эта способность – выстрелить первым.

До сих пор удавалось.

После того как я увидел собственную фамилию в ежедневнике директора Дома творчества, самое разумное было – слиться. Первым же автобусом, первым частником рвануть в Феодосию или еще лучше в Симферополь – и на самолет. На любой самолет, который отлетал в каком угодно направлении. Вместо этого я сидел в своем номере, прислушивался к звукам, доносившимся с набережной, и тупо смотрел на пистолет, неестественно удлиненный глушителем. Хороший глушитель, от выстрела он оставлял только легкий щелчок, напоминающий удар маленького камешка по оконному стеклу. Вполне невинный звук, который можно было принять за щелчок пальцами, упавший на пол перочинный ножик, а то и просто обыкновенный человеческий чих. Каждый волен был принять этот звук за что угодно. Главное – не опоздать с выстрелом. Но если я об этом думаю и к этому постоянно возвращаюсь, значит, такая опасность существует.

И еще – мне некуда уезжать.

И не хочется.

Была еще одна причина моей привязанности к Коктебелю – меня ведь ищет не только киллер с прекрасно развитым собачьим чутьем, меня ищут и вполне официальные органы. Они не столь ловки и подвижны, но их много, и они тоже обладают некой неотступностью. Я встречал собственные фотографии в самых различных местах – от газетных страниц до милицеских щитов. Так что большие темные очки, купленные на неаполитанской набережной, нужны мне не только для того, чтобы безнаказанно разглядывать загорающих девочек, не только, ребята, не только.

Сунув пистолет сзади за пояс и набросив на плечи джинсовую куртку, я вышел на набережную. Свет не стал выключать – пусть думают, что в номере кто-то есть.

Маленькая площадь перед столовой Дома творчества уже была полна народу. Художники маялись у своих карадагских пейзажей, бабули разложили всевозможные травы, настои, сухие пучки каких-то душистых цветов с гор, тут же торговали керамикой, камнями, подсвечниками и вообще черт знает чем – всем торговали. Уже гремела в ресторанах музыка, медленно передвигались с толпой зацелованные девочки, ошалевшие от них мальчики, но во всем чувствовалась какая-то прощальная тоска, сентябрь шел, сентябрь.

Совсем скоро наступит саднящая пустота, примерно такая же, какая давно уже установилась во мне самом. Еще и поэтому не хотелось уезжать – достаточно было продержаться неделю-вторую, и тогда здесь можно будет залечь до следующего лета в полной безопасности. Я, кажется, даже простонал вслух от предвкушения этого блаженства – совершенно пустой поселок, грохочущее море, заснеженные горы и красное вино каберне, которым можно согреться в самые холодные ночи...

У разогретого за день парашута неизменно, как профиль Волошина на срезе скалы Карадага, стоял Жора Мельник, разложив свои каменные изваяния. Всю зиму в полном одиночестве бродит он по пустынным пляжам, подбирает после шторма занятные камни и с помощью обломка стального полотна выцарапывает из них все, что увидится его не совсем трезвому



взгляду. А с наступлением лета выставляет на парапете длинный ряд всевозможных чудищ, девичьих головок, пожирающих друг друга змей и прочую нечисть.

Покупают.

– Привет, – я пожал его натруженную руку. – Как успехи?

– Один камень купили, два украли.

– Это считается хорошим результатом?

– Неплохим.

– Бывает хуже?

– Все бывает... Прошлым летом нечаянно заснул на пляже – украли целую сумку с камнями. Труд всей зимы. Глоточек?

– Можно.

Жора, не глядя, заводит руку за спину, берет с теплого парапета початую бутылку мадеры и наливает в фужер, который, видимо, на вечер одолжил в соседнем ресторанчике.

– Дыней закусишь?

– Закушу.

Из-за отсутствия ножа Жора режет дыню пилочкой для ногтей. Скибки получаются рваными, сочащимися, но на результат это никак не влияет. Мы пьем холодное горьковатое вино, закусываем дыней и смотрим на проходящие мимо поредевшие толпы отдыхающих. Через неделю их останется совсем мало, а еще через неделю они и вовсе исчезнут.

– Когда уезжаешь? – спросил Жора.

– Не знаю... Может, вообще останусь.

– На зиму?!

– А что? Не советуешь?

– Почему? Оставайся. Если духу, конечно, хватит.

– Хватит.

– Как тебе мое новое произведение? – Жора чуть сдвинулся в сторону, и я увидел стоящий на парапете каменный мужской член. Он был сработан трепетными Жориными пальцами с такими ошарашивающими подробностями, с таким точным соблюдением всех предусмотренных природой впадин и выпуклостей, что при первом взгляде на него брала оторопь.

– Неужели подобное возможно? – пробормотал я потрясенно. Взяв каменную стелу в руки, я внимательнее всмотрелся в это произведение. Все тело члена было испещрено какими-то растениями, ветвями, листьями, кажется, даже цветами. – А что это? – спросил я.

– «Древо жизни» называется. На женщин сильное впечатление производит. Мужья тащат их от этого члена, как от собственного позора, а они шеи выворачивают – все не могут взгляда оторвать.

– Почему?

– Только взглянув на это... на эту вещь, они понимают, как жестоко обошлась с ними жизнь, как убоги и бедны их постельные впечатления.

– Сколько хочешь за него?

– Пятьдесят долларов, – ответил Жора чуть дрогнувшим голосом – ему, видимо, показалось, что заломил многовато.

– Беру.

– Зачем он тебе?

– Не знаю... Вдруг пригодится... Может, подсвечник сделаю.

– Точно берешь?

– Сказал же.

– Пока оставляю, пусть стоит. Народ привлекает.

– Но он мой. – Я вынул из кармана и вручил Жоре пятьдесят долларов.

– А если б сто запросил?

– Дал бы сто.  
– Пролетел, значит, – сказал Жора без сожаления.  
– Так и быть, десятку добавлю.  
– Не возражаю. Еще глоточек?  
– Выпью.  
– Я теперь богатый... Да, тебя тут одна девушка спрашивала.  
– Девушка?  
– Симпатичная такая, фигуристая. Не встречал ли, спрашивает, такого высокого, с короткой стрижкой, и на виске родинка, как след от пули...

– Так и сказала – след от пули?  
– Так и сказала.  
– Странное направление мыслей у девушки. Давно?  
– С полчасика назад.  
– Узнаешь?  
– Узнаю, но раньше ее не видел. А вон она, – Жора показал пальцем в толпу.

Обернувшись, я увидел свою пляжную знакомую. Она опять шла с подружками, такими же до черноты загорелыми. Увидев меня, весело помахала рукой, подняв ее высоко над головой. Я ответил. Девушка что-то сказала подружкам, все весело рассмеялись и, не задерживаясь и не ускоряя шага, пошли дальше, увлекаемые разморенной жарой толпой.

У меня отлегло от сердца.

Киллеры не ходят толпами, не смеются весело при встрече со своими жертвами и не приветствуют их взмахами руки.

– Я понял, что она о тебе спрашивает, – сказал Жора. – Сказал, что да, бывает здесь такой. Слова о тебе хорошие произнес. У вас завяжется. Поверь моему южному опыту.

– Спросила еще что-нибудь?  
– Как зовут спросила. Я сказал. Она твоя, не теряйся. Хочешь, отсеку ее подружек?  
– Потом. Шампанского выпьем?  
– Я вообще-то больше по мадере...  
– Выпьем, – сказал я. – У меня с шампанским связаны неплохие воспоминания.  
– Тогда надо, – согласился Жора.

В соседнем киоске я взял две бутылки завода «Новый свет». Когда-то в Москве мы гонялись за этим вином, а здесь его навалом. Как все меняется – то, что было почти недоступно, валяется под ногами. Бери – не хочу. А то, что казалось естественным, вдруг исчезло, и, кажется, навсегда.

Мы сели на парапет, открыли бутылку и стали по очереди прихлебывать из роскошного ресторанного фужера. За свой тыл я был спокоен – со спины только море, откуда ко мне не подобраться. А передо мной – медленно проплывающая толпа. Наступили сумерки, и торговцы осветили свои прилавки искусственными фонарями, подсветками, светильниками.

– Хочешь, прочту стихи? – спросил Жора.  
– Свои?  
– Конечно.  
– Свои читай.

Ты проснулся – нет вина,  
И к тому ж в чужой постели.  
Значит – точно с будуна,  
Значит – точно в Коктебеле!

– Неплохо, – сказал я, открывая вторую бутылку. – Мне нравятся. Они где-то напечатаны?

– Нет.

– Надо напечатать.

– Это не уйдет, – беззаботно ответил Жора.

– Уйдет. Все уходит.

– Но мы-то остаемся! – рассмеялся он.

– И мы уйдем.

– Как знать, – я чувствовал, что сзади, из-под моей куртки, четко проступают контуры пистолета, но это меня не беспокоило – за спиной был простор моря, оттуда просто некому было увидеть эти зловещие очертания.

Неожиданно совсем рядом раздался выстрел.

Я замер, сжался, даже, кажется, закрыл глаза...

Но нет, обошлось.

Целью был не я.

Как оказалось, цели вообще не было – взорвалась какая-то лампа. То ли вода в нее попала, то ли кто-то опрокинул треногу с картинками. В толпе засмеялись, посыпались шуточки-прибауточки, а Жора вообще ничего не услышал. Счастливые люди – грохот выстрела их только забавляет. Если вообще они его услышат. Когда-то, совсем недавно, и у меня было такое же состояние. Если сейчас любой резкий звук я воспринимаю как выстрел, то всего два года назад я тоже готов был принять его за что угодно – упала книга с полки, кто-то уронил молоток с крыши, дети с хлопушками забавляются...

Другая была жизнь.

Опять прошла стайка знакомых девушек – теперь в обратную сторону. Мы с Жорой сидели в тени, они нас не заметили. Девушки все так же веселились, что-то рассказывали друг другу и казались совершенно довольными жизнью.

Это было неестественно.

Ненормально.

Озабоченность должна была хоть как-то проявляться в их поведении. Сюда приезжают не для того, чтобы вот так бестолково шататься по набережной. Их обязательно должен был кто-то подцепить, закадрить, снять. Или это же должны были сделать они. Не лесбиянки же, в самом деле. Может быть, их мужики уже уехали? Судя по загару, девушки здесь давно. Скорее всего так и есть – добывают последние дни.

– Кадрим? – спросил Жора, поймав мой взгляд.

– Чуть попозже.

– Уедут... Видишь, какие созревшие.

– Раньше ты их здесь видел?

– Всех не вспомнишь.

– Этих мог бы и заприметить.

– Мелькали, – равнодушно протянул Жора. – Не такие, правда, загорелые. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Это не я столь красиво выразился, поэт так сказал.

– Лермонтов.

– А ты начитанный, – рассмеялся Жора.

– Пойду, – сказал я, спрыгивая с теплого парапета.

– Напрасно. Все только начинается! Через полчаса такая жизнь здесь пойдет, такие люди появятся, такие события случатся... Оставайся! Я за вином сбегая, а?

– Пойду. «Древо жизни» не потеряй. Оно уже мое.

– В самом деле хочешь подсвечник сделать?

– Может быть.

– Могу дырочку просверлить в интимном месте... Вставишь гвоздик, наденешь...

– Жора! – сказал я негромко. – Я сам вставлю гвоздик, хорошо?

– Виноват! – Жора склонил голову.

– Пока. – Я пожал ему руку и шагнул в сторону калитки Дома творчества. Там сразу же начинались кусты, шла сетка-забор дома Волошина и скрыться было нетрудно. Постояв немного в зарослях, я убедился, что никто за мной не идет, никто меня не высматривает. В свете слабого фонаря проходили пары, на ходу целовались, на ходу тискались и снова исчезали в темноте. Все так же кустами я прошел в сторону чайного домика, на ощупь, в темноте перепрыгнул через канаву с жижей, текущей из столовой, и вышел к главной аллее. Она была совершенно темной, от прежних счастливых времен не осталось ни единого фонаря на всем ее протяжении. Только по отдельным смутным пятнам, по мерцающим сигаретам да изредка доносящимся негромким голосам можно было догадаться, что по аллее идут люди, мужчины и женщины, дети и собаки. Когда-то, в другие времена, здесь не смела показаться ни одна машина, а теперь свет фар вызывал радость и чувство облегчения – можно было увидеть, где идешь, кто вокруг, куда нужно свернуть.

Оказавшись у памятника Ленину со сбитым носом и вымазанными алой помадой губами, я понял, что уже у цели – девятнадцатый корпус был совсем рядом. Расположившись в кустах на скамеечке, я некоторое время наблюдал. Все было спокойно, ничего не насторожило меня, не вызвало подозрений. За спиной грохотал оркестр – так, что с деревьев опадали подвявшие осенние листья. Несколько окон в корпусе светилось оранжевым цветом – шторы во всех номерах были задернуты.

Убедившись, что вокруг никого нет, я быстро прошел к своему подъезду, по длинной, одномаршевой лестнице поднялся на второй этаж, вошел в номер и тут же повернул в двери ключ на два оборота.

Поправил шторы, чтобы не было ни малейшего просвета, включил верхний свет и подошел к зеркалу. Да, действительно, на правом виске можно было заметить не слишком темную родинку. Ее нетрудно было увидеть с близкого расстояния, когда разговариваешь с человеком глаза в глаза, когда стоишь в вагоне метро или в троллейбусе. Но в том-то все и дело, что, кроме Жоры и нескольких человек в столовой, я ни с кем не разговаривал. И уж, во всяком случае, солнечная девушка не подходила ко мне достаточно близко.

На пляже?..

На пляже я постоянно был в темных очках, а они напрочь перекрывали этот мой опознавательный знак. Когда я надевал очки, увидеть родинку было невозможно. Значит, здесь есть люди, которым о ней было известно заранее?

И все-таки я никак не мог заставить себя поверить в то, что киллерская машина, запущенная год назад, и сегодня, когда никого уже нет в живых, никого, включая меня самого, продолжает действовать. Я знал, что так бывает, но в то, что это так и есть, – поверить не мог.

В этом была еще одна причина того, что я все-таки остался в Коктебеле. Да, моя фамилия в ежедневнике у директора. Да, кто-то там на пляже уловил момент и увидел родинку на моем виске...

Ну и что?

Та же милая девчушка могла увидеть меня в толпе без очков? Вполне могла.

Кто-то мог у директора спросить о человеке с такой же фамилией? Мог.

Все. Остаюсь.

Говорю же – нет меня в живых. В лучшем случае они прострелят труп, но не живого человека. Когда-нибудь, где-нибудь какая-то часть моего организма, возможно, и оживет. Может быть, мозги, сердце, может быть, еще кое-что... Не зря же Жора всю зиму выскабливал из камня ту самую штуковину, не зря же я купил ее...

Да, не забыть забрать. Пусть будет при мне.

Странные вещи начинают происходить среди незнакомых людей, когда они объединяются ради какого-то дела. Каждый из них уже не тот, кем был раньше. Из глубин организма выныривают качества, о которых человек раньше в себе и не подозревал. Или наоборот – исчезают черты, особенности, которые когда-то его угнетали, мешали жить.

Говорят, деньги меняют человека, портят, более того – перерождают.

Ничуть.

Никакие деньги человека изменить не могут. Деньги делают другое, более страшное – они вызволяют те качества, те свойства характера, которые были в нем всегда, но раньше он о них не осмеливался даже заикнуться – настолько они были несовместимы с прежней жизнью, с прежними возможностями.

Стоило Здору вставить новые зубы, он тут же, вместе со старыми, проевшимися железками, сам того не заметив, отбросил и зависимость от Выговского, исчезло заискивание, появилась даже некоторая твердость, которая поначалу выглядела обыкновенной капризностью. Выговский усмехался про себя, но уже чувствовал, понимал – капризность твердеет, может быть, даже окаменевают, и вот-вот он получит вместо прежнего Здора человека самовольного, а то и попросту неуправляемого.

Теперь их уже было семь человек, и все понимали – хватит.

Достаточно.

Гущин с Мандрыкой взяли на себя порт, Выговский по инерции продолжал осуществлять общее руководство, но понимал, чувствовал – так будет не всегда. Все чаще возникал Гущин, что-то было в этом Гущине. За всеми его улыбочками, румяными щечками, молоденьким брюшком, к которому он еще не привык и потому постоянно втягивал в себя, продолжая носить прежние одежды, за всем за этим просматривался человек цепкий, если не сказать жадный. Опыт – вот что было в Гущине. Опыт руководства людьми. Он с ходу, быстро, в две-три встречи определил слабое место каждого и как бы повесил на спину каждому невидимый ярлык.

Появились еще трое, они не могли не появиться. Начальник какой-то северной железнодорожной станции Горожанинов – рыжий, кудрявый, с золотыми зубами, с манерами вольными и раскованными. И походочка у него была какая-то расхлябанная, при ходьбе ноги от колена выбрасывал вперед, когда разговаривал, плечиками играл. Да, можно сказать, что жестикулировал ими, вздергивал, удивляясь, в недоумении поднимал, почти прижимая к ушам, – такой вот человек был. Но при этом три состава платформ организовал быстро, четко, загрузил их и отправил со всеми полагающимися документами.

Появился начальник северного лагеря – Здор затащил в компанию, сидел он когда-то у него. Усошин была его фамилия, Николай Иванович Усошин. Недоверчивый, настороженный – видимо, работа с эками выработала в нем эти качества. Слушал всех внимательно, но маленькие глазки оставались неподвижными, будто пытался понять не только сказанное, но и второй смысл слов, и третий. При этом Усошин как бы ни в одно слово не верил, будто наверняка знал – обманывают и будут обманывать впредь.

И еще появился Агапов. Сергей Агапов. Бывший десантник, вернулся он после армии в те же самые края, откуда был взят на службу. Поскольку все его сверстники за это время окончательно спились, некоторые сели, иные слиняли куда подальше, Агапов остался чуть ли не единственным на весь поселок, кого можно было назначить начальником леспромхоза. Пренежего уже при нем, уже после возвращения из армии, застрелили на дальнем участке, по пьянке застрелили. Поддавал мужик и, напившись, вел себя в компании непочтительно. За что и получил заряд картечи в живот.

После этого и стал Сергей Агапов начальником, как-то естественно стал. А поскольку прошел десантные войска, прыгал с парашютом, разбивал головой кирпичи, падал и подни-

мался, то поселился и окреп в его душе некий авантюризм. А особенно окреп, когда он стал начальником леспромхоза. Убедился опять же, что все им испытанное и достигнутое должно в дальнейшем находить применение.

Когда Выговский приехал к нему в избушку и предложил работать вместе, Агапов сомневался недолго – между первым и вторым стаканами. Собственно, уже второй стакан был освящен тостом деловым и кое-что сулящим в этой жизни, полной смертельного риска и всевозможных неожиданностей – так красиво и убедительно выразился Выговский, поднимая опять же второй стакан.

– Сколько нас? – спросил Агапов.

– Человек семь-восемь... Где-то так, – Выговский неопределенно повертел в воздухе растопыренной ладонью.

– Что за люди?

– Надежные ребята, – соврал Выговский. Соврал не потому, что ребята не были надежными, а потому, что он попросту не знал, что за люди собрались под его знаменами.

– Кто такие? – В немногословных и предельно четких вопросах Агапова чувствовался печальный жизненный опыт – кидали его, уже успели шустрые люди кинуть на два состава леса. А кроме того, по складу своего характера и тела, по росту, ширине плеч он понимал, что так и должен себя вести – требовательно, строго, говорить кратко, пить много и ни в коем случае не пьянеть. Все это ему удавалось, и все, как ни странно, производило впечатление на Выговского. Тот даже немного сник, понял, что с этим мужиком нельзя вести себя, как со Здором – этак снисходительно, а то и поощрительно. Но в то же время почувствовал, что они во многом одинаковы, и когда начнутся разборки, а в том, что разборки начнутся, он не сомневался, так вот, он решил, что с Агаповым они найдут общий язык.

– Значит, так, старик, – Выговский разлил по стаканам водку и хорошим таким, широким жестом отставил бутылку в сторону, поддернул рукава пиджака, в упор посмотрел на Агапова. – Ты последний.

– В каком смысле?

– Кроме тебя, нам уже никто не нужен. Все схвачено.

– Но все пока на свободе?

– Не понял?

– Шутка.

– А-а, – протянул Выговский без восторга. – Разные шутки бывают. Но есть, старик, вещи, которыми не шутят.

– Не буду, – Агапов успокаивающе похлопал Выговского по плечу, и тот опять подумал – с этим будет тяжело. – У меня тут по соседству эки разрабатывают лес. Командует ими некий Усошин. Не слыхал? Если попадешь к нему на отсидку – могу словечко замолвить. Поставит хлысты отсекать.

Это была проверка, и Выговский сразу понял, почему Агапов заговорил об Усошине. Они наверняка уже перезвонились и все обсудили. Проверка наивная, северная, и к тому же Выговский ждал чего-то подобного.

– Усошин тоже с нами, – сказал он как бы между прочим, даже не глядя на Агапова.

– Да? – удивился тот. – Надо же... Значит, обошел меня Николай Иванович.

– Никого он не обошел. Мы все на равных. В этом главное – никому не обидно, никто не тянет одеяло на себя. Все получают поровну.

– Так, – протянул Агапов. – Мы с Усошиным лес даем, а вы все? На равных с нами?

– Вот и начался серьезный разговор, – Выговский привычно сел на своего конька. Теперь ему было просто. Все, что предстояло сказать этому северному человеку, он проговаривал не один раз и всегда добивался успеха. У него были козыри, и он начал по одному выкладывать их на стол. – Готов?

– Готов, – сказал Агапов.

– Тогда поехали. Твой лес, Агапов, никому не нужен. Он тонок, не проходит по европейским стандартам. Диаметр тонкого среза не должен быть меньше тридцати сантиметров. Наберешь железнодорожный состав такого леса?

– Нет.

– А у меня есть покупатель.

– Кто?

– Турок.

– Как зовут твоего турка?

– Фаваз.

– Это его настоящее имя?

– Да. Он учится у нас. Жена его здесь.

– Где учиться?

– Остановись, Сергей. Остановись. Если я отвечу на все твои вопросы, ты через пять минут пошлешь меня очень далеко. Фаваз платит наличными. Принять, разгрузить судно с лесом в Турции ли, в Ливане... Это его проблема.

– А потом поминай как звали?

– Я с Фавазом работаю третий год. По мелочи, правда, но третий год. Это первое. Второе – мы затеваем дело надолго. Ему невыгодно кидать нас после первого или второго судна.

– Почему невыгодно? Очень даже выгодно.

– Фаваза я беру на себя. Он у меня на крючке.

– На хорошем крючке?

– Да, – Выговский помолчал, не решаясь сказать нечто важное. – Ладно, скажу. Его сына Фарида я запихнул в один подмосковный интернат. Сына он не бросит.

– Дальше?

– Порт. Новороссийский порт наш.

– В каком смысле?

– В том смысле, что там есть люди, которые уже ждут твой лес. И в течение недели отправляют его в Турцию. Со всеми необходимыми документами.

– А таможня?

– Их проблемы.

– Значит... Был бы лес? – усмехнулся Агапов.

– Да, вся цепочка подготовлена.

Агапов долго молчал, ходил по комнате, стоял у низкого окна, уперевшись лбом в раму, кому-то махнул рукой, дескать, поговорим потом, занят. Подошел к столу, допил водку из своего стакана, сел. Некоторое время исподлобья рассматривал Выговского.

– А ты кто? – наконец спросил.

Выговский молча сунул руку в карман пиджака и положил на стол паспорт. Агапов мельком заглянул внутрь и, похоже, даже фамилию за эти секунды не успел прочитать. Отодвинул.

– Настоящий?

– Изучай. Сличай. Запрашивай. Устанавливай. Тут же у вас по лесам достаточно специалистов.

– Найдутся, – Агапов опять надолго замолчал. – Повидаться бы надо...

– Повидаемся.

– Печати, штампы, бланки?

– Все есть.

– Контора?

– Есть.

– Секретарша?

– У каждого своя.  
– Казначей? Кассир?  
– Все на изготовке.  
– Бухгалтер?  
– Приезжай в Москву, познакомишься. Сам же сказал, что повидаться надо. Мандрыка его фамилия.

– Хохол?  
– Может быть.  
– Хитрожопые они.  
– Разберемся.

– Так, – протянул Агапов. – Так, – повторил через некоторое время. – Чувствую, плохо все это кончится. А устоять не могу. Чувствую... сяду. В лучшем случае. А отказаться... Не нахожу в себе сил. Представляешь?

– Через год, самое большее через два... Мы все слиняем. Ближайшие два года в стране будет катавасия и кошмарный дом. С этим дебилом наверху ничего не изменится. А потом... Когда люди будут жить в Абрау-Дюрсо, а отдыхать на Канарах, ты будешь сидеть вот в этой же избе, пить паршивую водку и закусывать еловыми шишками.

– Если шишки хорошо приготовить... Да с грибочками... Да под клюковку... – начал было Агапов и не закончил, сам себя оборвал: – Когда встречаемся?

– Если договорились, я уезжаю сегодня, – Выговский посмотрел на часы.  
– Договорились.

– Тогда через неделю встречаю тебя в Москве. На Ярославском вокзале. Мы все соберемся. Выпьем шампанского, подпишем бумаги...

– Какие бумаги?  
– Сам же говоришь – печати, штампы, бланки... Телефоны. Секретарши.  
– Да, все правильно, – вынужден был согласиться Агапов. – Без этого нельзя. Выпьем?  
– Надо, – кивнул Выговский.

Быстро взглянув на Агапова, он вдруг поймал его взгляд, устремленный в окно, – столько было в нем какой-то неизбывной тоски, столько раскаяния в еще не совершенном, что Выговский содрогнулся от дурных предчувствий. Но Агапов уже возвращался к столу с новой бутылкой водки, а его жена несла с кухни громадные, только что со сковородки котлеты. Печальный миг прозрения исчез, растворился, будто его и не было. И произойдет много чего, пока и Агапов, и Выговский вспомнят этот вечер, освещенный красным закатным солнцем.

– Чувствую – вляпаюсь, а отказаться не могу! – уже весело сказал Агапов, сковыривая вилкой алюминиевую нахлопку с горлышка зеленой бутылки.

Еще неделю назад в соседнем ресторане музыка гремела до утра, в этом был своеобразный местный шик – встретить восход солнца на море пьяным в дым, полуживым и опять же в обществе южных красоток. Прошла неделя, и все изменилось – наступила тишина. Нет уж тех удалых ребят, которые готовы были оплачивать оркестр до рассвета, теперь эти ребята разъехались по стране вкалывать, шустрить, грабить. Снова соберутся через год. Но уже без меня, без меня. Я свое отгулял, все положенные мне рассветы встретил и, кажется, отпущенные на всю жизнь моря навестил.

Сквозь золотистые шторы моей комнаты пробивались первые лучи. Какая же это потрясающая штука – тишина. В кокетельских ресторанчиках, больше смахивающих на забегаловки под навесом, для привлечения посетителей шустрые владельцы устанавливали динамики, предназначенные для стадионов, для залов на десять-пятнадцать тысяч человек. И, полагая, что так принято во всем мире, добивались звука, от которого подпрыгивали легкие алюминиевые столики, соскальзывала на пол посуда, опрокидывались початые бутылки.



Европа давно уже перешла на музыку тихую, почти неслышную, почти несуществующую, а эти все грохотали, стараясь друг друга не просто перекричать, а намертво заглушить, чтобы соседа вообще и слышно не было, будто и нет его, этого ненавистного соседа. А что, и добивались своего, добивались. Голоса милых певичек динамики превращали в такой первобытный звериный рык, что поднимались волосы на голове. Да, это я испытал – наэлектризованные звуком волосы на голове колыхнутся, искрятся, а вино в стакане дрожит мелкой рябью и оседает красными хлопьями на дно.

И вдруг – тишина.

Я собрался, надел плавки и вышел из номера.

Зацелованный Ленин со сбитым носом продолжал смотреть в пространство с прежней уверенностью и даже с какой-то победной убежденностью. Он, бедолага, видимо, еще не знал о происшедшем в стране перевороте и собственный сбитый нос, губы, выкрашенные кроваво-красной помадой, воспринимал как случайное недоразумение, не веря, что это навсегда.

А там кто знает, кто знает...

Может быть, ему как раз больше известно, чем этим полупьяным визгливым существам, которые суеились вокруг него все теплое время года.

Площадь перед столовой Дома творчества, которая всю ночь гудела от надсадно орущей толпы, сейчас была пуста и загажена. Битое стекло, металлические пробки, бутылки из-под шампанского, покрывающие весь пляжный навес пивные банки. Даже совершенно интимные подробности ночной жизни тоже попадались, причем гораздо чаще, чем можно предположить. Но уже появились испитые тетеньки с метлами, мужички шустрили с сумками, собирая пустые бутылки, их старались обогнать местные детишки... Когда окончательно рассветет, народ выйдет на площадь чистую и даже как бы влекущую к новым похождениям.

Галька была холодная, море прозрачное, волна тихо шелестела у ног, и, казалось бы, все было прекрасно.

Но не бывает, не бывает, чтобы все было хорошо, – на берегу отдыхала компания каких-то отмороженных. Видимо, здесь они оказались случайно – незагорелые, в длинных черных бухгалтерских трусах, с красными от выпитого глазами. Девицы при них были точно такие же – тощеватые, мелковатые. Они тоже визжали и висли на татуированных плечах своих кавалеров. Два парня выволокли из кафе столик и занесли его прямо в море. Там же установили несколько стульев и расположились на них, опустив в воду худосочные свои ягодицы. При этом они орали, визжали, куражились, прикидывая, как бы еще свою удачу проявить, чтобы их запомнили, чтобы восхитились ими или, по крайней мере, уstraшили – это тоже неплохо, об этом тоже можно вспоминать долго и весело. У самого входа на пляж стоял черный замызганный джип – на нем они, похоже, и приехали. Все ясно – совершают круиз по Крыму и вот добрались до Коктебеля. Ну что ж, милости просим.

Я знал эту публику и всегда ее сторонился. У них нет ничего сдерживающего. Если начнут бить – не остановятся, пока не добьют, если кто-либо из них достанет нож – не успокоится, пока в кого-нибудь не всадит, если в руке окажется бутылка, значит, надо ее разбить о чью-то голову. И при всем этом совершенно не имеет значения, виновен ли человек перед ними в чем-либо или же случайно оказался на пути.

Таких немало и, как я заметил, становится все больше. Им подражают, равняются, гордятся знакомством с ними. Вообще-то мне вроде бы и не пристало осуждать этих отморожков, я давно перешел все те границы, к которым они только приближались. Может быть, они мне не нравятся только потому, что я знаю, чем все кончается. Кровью кончается. А потом наступает пустота – но это в лучшем случае.

Я отошел в сторонку и лег на гальку, еще хранившую ночную сырость. Благодушное мое состояние испарилось, воинственные крики несли в себе нечто непредсказуемое. Это я

чувствую сразу. Лучшее, что я мог сейчас сделать, – уйти. Тихо, не привлекая к себе внимания, уйти бесшумной, равнодушной ко всему тенью.

И, осознав это, остался.

Всегда уходил в таких случаях, а сейчас остался.

Говорю же – что-то начало во мне происходить. Если уж выразиться красиво, то на выжженном пространстве души начали пробиваться какие-то еще неведомые мне побеги – их семена уцелели после всех тех пожаров, которые полыхали совсем недавно.

В общем, остался.

Если вы крутые, ребята, я тоже достаточно крутой. И не пристало отдавать кому бы то ни было пространство, которое мне нравится и которое я считаю своим.

Отвалите.

Я заплыл метров на пятьдесят, не больше. Море было настолько чистым, настолько прозрачным... Таким оно бывает лишь ранним утром. Выйдя на берег, постелил на камни тяжелое мохнатое полотенце – кажется, я купил его где-то на Канарах. Там этого добра хватает. Полотенце было украшено изображениями карточных мастей – черными и красными. Получилось, будто я карты разбросал, пытаюсь узнать свое будущее. Едва взмахнув этим полотенцем, я уже привлек внимание какого-то хмыря из пьяной компании. Но он был от меня метрах в двадцати, и я не придал этому значения. Лег на спину, закрыл глаза и унесся, унесся на те же Канары – там всем нам было неплохо, потом кому-то стало совсем плохо, настолько плохо, что обратно его доставили в цинковой посудине.

Сколько же всего было, сколько всего было за эти несчастные два года! Если попытаться вспомнить месяц за месяцем... В каждом найдется нечто такое, от чего можно содрогнуться. И я содрогнулся – моего живота в этот момент коснулось что-то холодное, мокрое и достаточно тяжелое.

Открыв глаза, я увидел, что тот самый хмырь, которому понравилось мое полотенце, стоит надо мной, поставив мне на живот свою ногу, покрытую редкими длинными волосами.

– Испугался? – Он улыбался.

– Убери ногу... Козел.

И все.

Дальнейшее от меня уже не зависело. Я не хотел, не думал даже произнести это слово, оно выскочило само как результат всей предыдущей моей жизни. Я мог его назвать идиотом, подонком, сволочью, мог послать его и на три, и на тридцать три буквы, мог обозвать серым волком или трусливым зайцем... Все это не имело бы столь пагубных последствий.

Но козел...

Это предел. Сильнее оскорбления в конце нынешнего тысячелетия на всей территории нашей необъятной родины...

Сильнее оскорбления нет.

Я не хотел. Козел выскочил как продолжение всего, что я о них подумал, что в них увидел и понял.

– Что ты сказал? – спросил он не столько гневно, сколько удивленно.

– То, что слышал.

– А ну повтори? – Он все еще не верил, что вот так запросто на берегу солнечного моря, ранним утром, когда всем им было весело и хорошо, его так оскорбили, так обидели... За подобное попросту заваливают.

– Гуляй, – сказал я примирительно.

– Так, – протянул он и отошел к своим.

А те веселились с девочкой – буфетчицей из близлежащего кафе. Она все пыталась вызвать стол и стулья, которые у нее попросту отобрали.

– Ребята, – просила она, – что вы делаете? Эти же стулья на мне! Они на мне, понимаете?!

– Были на тебе стулья, а сейчас на тебе будем мы! – веселились ребята. И, подхватив девушку за руки-ноги, раскачали ее и бросили в воду метрах в трех от берега. Дальнейшее веселье затихло, поскольку к ним подошел мой козел. Выслушав его, они забыли о девушке и плотной группой двинулись в мою сторону.

Ну вот, проговорил я про себя, так все и бывает в нашей жизни, полной смертельной опасности и непредсказуемых последствий. Держись, Женя, – я все чаще обращался к себе по этому вымышленному имени, все больше привыкал к нему.

Ладно, разберемся.

Козлы были уже совсем рядом, шли молча и, как каждая свора, начали, не сговариваясь, обходить меня с двух сторон. Я уже знал – сейчас зайдут за спину, и я окажусь в центре круга. Это опасно, потому что... Потому что опасно. Их было человек пять, и они были отморозки. Если ничего не предпринять, они оставят меня в жалком состоянии, если вообще оставят живым.

Терять нечего.

У меня было только одно преимущество – они не знали, как далеко я зашел в этой самой крутизне.

Победит тот, кто круче.

Они считали, что перед ними случайный, заблудший лох, который сам не понял, что натворил и что его ждет.

Я не был лохом. Я был покруче этих отморозков – так мне казалось. Ровно через пятнадцать секунд выяснилось, что я был прав.

Степень крутизны зависит от того, как далеко ты готов пойти в ссоре ли, в драке, в любви, наконец. Или же ты постоянно озабочен – переступил ли ту невидимую черту, за которой начинается бестактность и невежливость, или же тебе на это наплевать. А еще можно переступить черту, за которой явственно так, четко просматривается смерть. И не важно – твоя ли, противника... Ты готов переступить и эту черту? Готов?

Случилось так, что за два-три последних года я переступал все эти границы. И не один раз. И теперь знаю твердо – нет той черты, за которой я не побывал.

Побывали ли за этими границами приближающиеся ко мне козлы?

Не уверен.

Вернее, знаю твердо – нет. Им только кажется, что они крутые. Им хочется так думать. У настоящих крутых в глазах пустота. Как у меня, например. А у этих – злоба, обида, жажда утвердить какую-то свою справедливость, как они ее понимают, жажда крови, наконец...

Все это от слабости, от молодости.

От куража.

Заглянул в себя поглубже – страха не обнаружил. Еще раз всмотрелся в собственную темноту – все нормально.

– Так кто из нас козел? – спросил мой крестник.

– Вам виднее.

Теперь я уже оказался в кольце. Им нужен был повод, какой-то последний знак, сигнал, после которого они накинутся на меня со всех сторон.

– Извиниться не хочешь?

– Извините, ребята, больше не буду.

– Сто баксов – и ты прощен.

– Бог подаст, – это были слова, которых они ждали. Я уже не лежал перед ними, я сидел на своем полотенце. Скосив взгляд, увидел, что сижу на червонной масти. Это хорошо. Если бы оказался на пиковой...

Кто знает, кто знает.

А так подо мной был червовый туз. На черву мне всегда везло.

И сейчас тоже.

Мне удалось поймать тот неуловимый миг, когда мой козел первым бросился на меня, выведя из-за спины руку – в ней была бутылка из-под шампанского. И с шампанским мне всегда везло.

Шампанское – это мой напиток.

Не поднимаясь, я прыгнул ему в ноги, и он опрокинулся вместе со своей бутылкой уже у меня за спиной. И тут же, не оглядываясь, не теряя ни секунды, я рванул вперед, как бы убегая от них. Но через два шага обернулся и того, кто бросился за мной первым... Хорошо так, из удобной позы, с разворотом... В челюсть. Он рухнул. Он не упал, он рухнул. По моим прикидкам, после такого удара человек вырублен минут на пять, не меньше. Это в американских боевиках люди с раздробленными челюстями еще оказывают какое-то сопротивление, а то и побеждают.

В жизни так не бывает.

И тут как дар небес – ко мне подбегает все тот же козел с бутылкой. Я дал ему возможность приблизиться, дал время размахнуться тяжелой посудиною и только после этого выбросил правую ногу вперед. По яйцам. Тоже очень удачно получилось, ну просто очень удачно. Когда он, согнувшись от боли, выронил эту бутылку, упал на четвереньки, я успел той же правой дать ему под дых, снизу. И тогда он распластался на гальке уже надолго. Не навсегда, нет, но надолго.

Не помню, как у меня в руке оказалась эта злосчастная бутылка, но следующий козел получил ею по морде. Мне удалось захватить щеку, ухо, затылок... Зубы у него, скорее всего, остались, но пломбы... Пломбы наверняка вылетели все до одной.

Сколько бы их там ни было.

И тут я почувствовал, что сзади на мне, обхватив за спину, висит одна из девиц. Напрасно она так поступила, глупая. Наверно, прежние драки у этих козлов заканчивались иначе, наверно, по прежнему опыту она решила, что может помочь.

Не смогла. Я двинул локтем назад, и руки ее разомкнулись. Я даже не стал смотреть, что с ней. Отвалилась и отвалилась.

– Продолжим? – спросил я у двух оставшихся.

Черные трусы до колен, тощие животы, опять эти фиксы... И вдруг я увидел в руке одного нож.

– А вот этого не надо, – сказал я.

– Это почему же?

– Добью. Эти поднимутся, – я кивнул на дергающиеся в судорожных конвульсиях тела, – а ты не поднимешься. Брось. Я сказал – брось нож!

И он бросил.

– А теперь волокни эту падаль отсюда. И линияйте. Иначе будет хуже.

– Ну и сказал бы сразу, – это все, на что он осмелился.

Прямо от пляжа поднималась узкая металлическая лестница в салон Славы Ложко. Новый человек эту лестницу не всегда и увидит, но я давно ее заприметил, сразу решив, что рано или поздно она пригодится.

И пригодилась.

Несмотря на полный разгром отморожков, я понимал, что надо уходить, и побыстрее. Чуть замедленно, но не теряя ни секунды, я подошел к своим шлепанцам, сунул в них ноги, подхватил полотенце и, не оглядываясь, направился к лестнице, выкрашенной черной краской. Поднялся быстро, шагая через ступеньки, и лишь наверху оглянулся. Отморозки приходили в себя, и только один смотрел в мою сторону. Но вряд ли он видел меня, у него наверняка все еще плыло перед глазами.

В салоне было влажно, на каменном полу еще сверкали лужицы, и встретила меня только официантка Алла – сонное выражение лица, припухшие губы, выстриженные на затылке светлые волосы.

– Все хорошеешь? – спросил я, не останавливаясь, держа направление на выход в сторону набережной.

– А! – она досадливо махнула рукой.

– Славы нету?

– Всю ночь отдыхали... Только разошлись. После обеда будет.

– Привет ему!

– А! – опять махнула она рукой, отметая ненужные слова.

Я вышел на набережную, свернул вправо и через десять метров нырнул в узкий проход между киосками – на территорию Дома творчества. И тут же влево, в кусты, к искусанному Ленину.

Все.

Я нигде не был, ни в чем не участвовал.

И отвалите, ребята.

По одномаршевой лестнице на второй этаж, два поворота ключа – и я в одиннадцатом номере. Снова два поворота ключа и...

И отвалите.

Только теперь, оказавшись в безопасности, я ощутил саднящее чувство раскаяния. Не надо было мне связываться с этими юными отморозками, ох, не надо было. Во-первых, засветился. Показал честному народу, что я не хвост собачий, что со мной надо поосторожней. Да и пацанье это не стоило того, чтобы проводить воспитательную работу. В конце концов, никого они не трогали, никому не мешали. Ну, поставили столик в трех метрах от берега, ну, бросили девчушку в море, ну, выпили лишнего...

С кем не бывает?

Что-то ты поплыл, Женя, что-то ты поплыл. Злоба какая-то накатила, нечто неуправляемое. А ты-то думал, что все уже позади, что страсти отпыхали и ты теперь человек мирный, спокойный и усталый.

Оказывается, ни фига. На твоём донышке, как красная ртуть, плещется зло.

А чего тебе колотиться, Женя?

Кто-то остался неотмщенным?

Никого не осталось.

А было много на челне...

Перемены и надежды еще только носились в воздухе, а нетерпение уже охватило всех, ребята невольно, незаметно, но начали меняться. В лучшую ли сторону, в худшую, кто знает, но пошло, пошло, и, похоже, эти перемены не могли вот так быстро прекратиться. Да никто и не собирался возвращаться к себе прежнему, поскольку не было еще никаких признаков опасности, никаких зловещих превращений.

Ничуть.

Были этикие милые уточнения своего прежнего облика, и не более того.

Ну, вставил Здор зубы, хорошие зубы вставил, дорогие, мог теперь широко и неуязвимо улыбаться любой красавице. Теперь уже никто не называл его фиксатом. И окажись он рядом с Шарон Стоун... Нет, не дрогнул бы, не спасовал. Вдруг выяснилось, что Здор предпочитает костюмы из тонкой серой ткани, и он нашел такие костюмы где-то на Тверской, недалеко от Центрального телеграфа. Не остановила его ни цена, ни простенькая этикеточка с грубовато исполненным словом «Версаче». Было ощущение, что какие-то силы уже втянули его в неодо-

лимый водоворот и он просто вынужден вертеться в нем, теперь это его жизнь, желанная и долгожданная.

А Мандрыка вдруг, ни с того ни с сего, зачесав волосы назад, обнажив аристократические залысины, распрямив плечи, отказавшись от придуманной сутуловатости, неожиданно предстал достаточно высоким и статным. Даже взгляд его изменился – в нем обнаружилась ирония, снисходительность, вызов человека, уверенного в своем превосходстве. И еще в Мандрыке проявилась любовь к клетчатым пиджакам и белым сорочкам. И он эту открывшуюся страсть не собирался подавлять, наоборот, поощрял и всячески приветствовал. Гладко зачесанные назад волосы, клетчатый пиджак, однотонный галстук глухого зеленого цвета... Нет, это был уже не Мандрыка из новороссийской мазанки, это уже был международный воротила, во всяком случае, принять его за такового можно было вполне.

Надо обратить внимание на одну тонкость. Дело вовсе не в том, что ребята, продав несколько составов леса, решили принарядиться, вовсе нет. Они остро, с какой-то внутренней болью ощутили, что прежние их одежды никак к ним не подходят, более того, эти одежды как бы принижают их, если не позорят. А вот новые – новые и сидят хорошо, и вполне им соответствуют. В новых они спокойно говорили о женщинах, о больших деньгах, обсуждали время пути сухогруза от Новороссийска до Бейрута и обратно, прикидывали способы увеличения производительности труда в эковских лагерях, осуждали низкую пропускную способность отечественных железных дорог...

И так далее, дорогие товарищи, и так далее.

Появился Фаваз, которого обещал Выговский и так долго ото всех скрывал. Представить всем Фаваза он решился, когда была оформлена фирма, получены печати и штампы, а он, Выговский, назначен председателем правления «Нордлеса».

У Фаваза был вполне легальный офис – недалеко от метро «Дмитровская», на каком-то этаже большой гостиницы, отделанной зеленоватым кафелем. Сам он при ближайшем рассмотрении оказался человеком полноватым, с большими черными влажными глазами и молчаливой улыбкой. И голос у него был негромкий, мягкий, с правильным выговором – видимо, в России он находился далеко не первый год. Тут же, в офисе, чем-то занималась и его жена – русская, Валентина. Невысокая, плотная, с откровенно блудливым взглядом. Одета она была во все черное, но с многочисленными золотыми подробностями – кольца, браслеты, цепочки, кулоны. Как заметил Выговский, золото было хорошее, желтое, высокой пробы.

– Я всех вас рад видеть, – сказал Фаваз. – Но договариваться буду с кем-то одним. Извините.

– Со мной, – сказал Выговский.

– Очень хорошо. Когда лес будет в Новороссийске?

– А когда будет судно из Турции?

– Лес там должен быть раньше, – сказал Фаваз. – Извините.

– Будет, – сказал Горожанинов. – Это на мне.

– Если судно уйдет пустым... Я разорен. Извините, пожалуйста.

– Лес не может долго находиться в порту, – сказал Выговский. – Или мы верим друг другу, или не верим.

– Конечно, верим, – сказал Фаваз и понимающе улыбнулся. – Я не первый год в России и немного знаю ваши условия. Поэтому договоримся так... Я сам поеду в Новороссийск. И как только увижу в порту лес, сразу связываюсь с Турцией. На следующее утро судно выходит из Стамбула и через сутки будет в Новороссийске.

– Когда оплата? – спросил Мандрыка.

– Как только судно выйдет из порта. Из Новороссийска.

– Гарантии?

– Моя собственная жизнь. Жизнь моей жены, – Фаваз мягким восточным жестом указал на молчавшую все это время Валентину. – Мы хотим работать долго. Нам невыгодно обманывать друг друга. Обманывать вообще невыгодно. Это знает любой коммерсант. Я давно занимаюсь коммерцией. А вы... как мне кажется... недавно. Извините.

– Где расплата? – спросил Мандрыка.

– Здесь. И еще одно... Мне бы не хотелось расплачиваться со всеми. Платить буду одному.

– Мне, – сказал Мандрыка до того, как кто-то успел сообразить, что к чему. – Я бухгалтер и кассир.

– Да, мы будем вдвоем, – кивнул Выговский, застолбив и свое участие в этом щекотливом деле.

– Пусть так, – согласился Гуцин, тоже пожелавший познакомиться с Фавазом. – Порт на мне, и я готов обещать вам отгрузку качественную и быструю. Но мне нужен аванс – задействованы многие люди.

– Нет, – Фаваз покачал головой. – Извините. Никаких авансов. Потом, немножко позже, когда мы с вами отправим три или пять судов и будем больше доверять друг другу... Можно поговорить об авансе.

– Кроме стоимости леса, есть еще стоимость оформления документов, – сказал Гуцин.

– Извините – это ваши проблемы. И доставка по железной дороге – тоже ваши проблемы. И заготовка леса...

– А в чем ваши проблемы? – не выдержал Мандрыка этого перечисления.

– Арендовать судно, доставить товар по месту назначения, продать его там, получить деньги и рассчитаться с вами.

– Подписываем договор? – спросил Выговский.

– Зачем? – удивился Фаваз.

– Чтобы в будущем мы могли разговаривать друг с другом... Без капризов.

Разговор продолжался, каждая сторона опасалась оказаться в дураках, оказаться кинутым и обманутой. У Фаваза опыт был гораздо больший в торговых делах, поэтому все не один раз возвращались к одному и тому же, пытаясь подстраховаться. Фаваз улыбался с молчаливой затаенностью. Он сразу понял, что его гости – люди новые в торговле и в бизнесе, что они неопытные. Ему с ними было легко, на все их наивные вопросы он отвечал полно и убедительно. Фаваз даже сам подсказывал вопросы, которые еще не успели созреть у Выговского или Мандрыки, они радостно хватались за подсказку, а он тут же терпеливо отвечал, как отвечают родители детям на первые их вопросы о жизни.

Гуцин в разговор почти не вмешивался, лишь внимательно наблюдал за Фавазом. И он, прожженный и отпетый, прошедший школу в самое сложное время, понял – Фаваз жулик. И осознав это, сразу успокоился – с жуликом легче иметь дело. Куда сложнее работать с серьезной фирмой, которая каждый свой шаг сверяет с собственным юристом и не отступает от подписанного договора ни на единый пункт.

А жулик...

Пусть будет жулик.

– Может, кофе? – предложил Фаваз.

– Охотно, – быстро сказал Гуцин.

Собственно, во время этой встречи Фаваз не совершил ни единой ошибки, кроме этого вот предложения выпить кофе. Да, собственно, это и не было ошибкой, ошибкой его гостеприимство стало через год или через два, когда вдруг отношения между соратниками обострились и понадобились дополнительные сведения. А они, эти дополнительные сведения, неожиданно, как бы сами собой, всплыли в разговоре Валентины и Здора.

Все произошло очень мило. Валентина в черных арабских одеяниях европейского, между прочим, покроя и Здор с новыми зубами и в костюме от Версаче быстро нашли общий язык, и разговор между ними, легкий и непосредственный, произошел именно в те несколько минут, пока Валентина включала чайник, кипятила воду, разливала ее в чашки и вскрывала банку с кофе.

– Вы, простите, жена Фаваза? – спросил Здор с такой изысканной галантностью, с которой он мог бы, наверно, обратиться к самой Шарон Стоун. А ведь обратится, а ведь произойдет, случится и состоится. Все у ребят состоится, просто ошарашивающе все.

– Да, мы поженились с ним года четыре назад. В Запорожье.

– В Запорожье?! – не то ужаснулся, не то восхитился Здор и, упав в кресло, закинул ногу за ногу – новый костюм очень выгодно подчеркивал достоинства его тощевой фигуры.

– Да, Фаваз учился в машиностроительном институте, а я там же работала на кафедре геодезии.

– Кем? – на этот раз в голосе Здора было только восхищение.

– Лаборанткой, – простодушно, с легкой запорожской вульгаринкой ответила Валентина.

– Но ведь надо разбираться во всех этих кошмарных приборах? – продолжал куражиться Здор, даже не подозревая, что в эти минуты он получает самую важную информацию, которую только можно было получить о Фавазе.

– Не такие уж они и сложные, – махнула Валентина полноватой, но все еще прекрасной рукой. – Было бы желание.

– Так вы родом из Запорожья?

– Почти, – она все с той же милой вульгаринкой передернула плечами – чему, дескать, здесь удивляться. – Но сейчас я больше живу в Ливане, чем на берегах Днепра.

– Так Фаваз из Ливана?

– Да, и братья его, и родители живут в пригороде Бейрута.

– А мне казалось, что он турок... – растерянно пробормотал Здор.

– Какая разница! – рассмеялась Валентина. – Все они одинаковые.

– Ха! – восхитился Здор. – Прекрасно сказано! А ваши родители в Запорожье?

– А где же им быть? Если не в своей деревне, то в Запорожье.

– Как же вы общаетесь с родственниками Фаваза?

– На арабском! – Валентина горделиво вскинула голову. – Я, между прочим, очень неплохо знаю арабский!

– О чем речь? – В дверях стоял встревоженный Фаваз – он не заметил, как Здор уединился с Валентиной. Видимо, не вполне доверяя своей жене, он старался не оставлять ее с молодыми мужчинами в костюмах от Версаче. Но, увидев, что Здор сидит в кресле, а Валентина хлопочет возле столика, разливая кипяток по чашкам, успокоился.

– Хвастаюсь познаниями в арабском языке, – ответила Валентина на все невысказанные вопросы Фаваза.

– А! Ей есть чем похвастать! Она арабский знает лучше, чем я русский.

– Даже так! – вежливо восхитился Здор. – А я в языках туп и бездарен.

– Это только кажется! – рассмеялась Валентина. – Окажись вы в Бейруте на целый год среди чужих... Заговорите! Никуда не денетесь.

– Но ты там была не среди чужих! – тонко заметил Фаваз.

– Конечно! С папой и с мамой я там была!

– С моими папой и мамой, – поправил Фаваз.

– Не надо! – Валентина пренебрежительно махнула рукой.

– Что не надо?

– Не надо нас дурить!

«Ого! – подумал Здор восхищенно. – Да ведь она наш человек!»



И не знал, не догадывался бедолага, какие разборки будут у него с этой Валентиной, и кто знает, чем все кончится, кто знает... Но ничто в нем в этот момент не дрогнуло, ничто не подсказало грядущих потрясений. И Валентина тоже отнеслась к их мимолетному разговору спокойно, с легким, почти неуловимым блудом в смутной улыбке. Похоже, иначе улыбаться она и не могла. И последнюю ее улыбку Здор запомнит такой же – с нетвердым обещанием и явной готовностью к чему угодно.

К чему угодно.

Завертелись, завертелись события. Никто не встал на пути, никто не попытался остановить происходящее. Будто высшие силы сознательно решили помогать до конца с единственной целью узнать, что же из всего этого получится. Ничего хорошего не получилось, хотя путь был ясен и победен.

Во всяком случае, поначалу.

Уже через месяц, ровно через месяц Фаваз позвонил в фирму «Нордлес». Да-да, к тому времени у ребят была контора или, как сейчас говорят, офис – три комнаты, в которых располагались кабинет руководства, секретарь с факсом и место отдыха, где уставшие фирмачи отдыхали за бутылкой шампанского. Почему-то привилось именно шампанское. Выговский как-то бросил красивые слова, которые понравились многим, – кто не рискует, тот не пьет шампанского.

– О! – удивился начальник лагеря Усошин. – Надо запомнить.

– Постараюсь, чтобы ты этого не забыл! – весело рассмеялся Мандрыка.

В общем, позвонил Фаваз и пригласил приехать.

Поехали Выговский, Агапов и Мандрыка.

О, этот Мандрыка!

Когда он распрямился, вскинул голову с зачесанными назад волосами, раздвинул плечи и втянул живот, оказалось, что он ничуть не ниже Выговского и Агапова. Честно говоря, он все-таки был маленько пониже, но залысины породистого аристократа, клетчатые пиджаки при белоснежных сорочках создавали ощущение такой значительности, что несколько сантиметров роста не имели никакого значения.

Фаваз оставался, как обычно, молчаливо улыбчивым, движения его были мягкими, какими-то обтекаемыми, а жесты – уважительными.

– Прошу садиться, располагайтесь, пожалуйста... Вас трое... О!

– Это плохо? – спросил Мандрыка.

– Это прекрасно! В русских сказках число «три» всегда немного волшебное, правильно?

– Да, что-то есть, – кивнул Выговский. – А у вас какое число волшебное?

– Семь... Хорошее число.

– О! Тогда мы сойдемся! – радостно воскликнул Агапов. – Нас в фирме как раз семь человек.

– Это удивительно! – восхитился Фаваз. Не говоря больше ни слова, он открыл посудный шкаф и, вынув оттуда стопку долларов, положил их на стол перед онемевшими посетителями. – Здесь пятьдесят тысяч, – сказал Фаваз с некоторой скорбью в голосе. К этому потом все привыкли – о деньгах он всегда говорил печально, будто прощался с близким человеком.

– Я, честно говоря, – первым пришел в себя Мандрыка, – рассчитывал на большую сумму.

– На какую?

– Вы же слышали – нас семеро. Как мы будем делить эти деньги?

– На какую сумму вы рассчитывали?

– По десятке на брата.

– Очень хорошо, – Фаваз снова открыл дверцу посудного шкафа, вынул оттуда еще две пачки и положил сверху. – Теперь все в порядке?

– Да, – с некоторой заминкой ответил Выговский. – Теперь все в порядке.

– Я хочу сказать следующее, – Фаваз отошел от шкафа и сел за круглый стол. – Не только вам приходится нести накладные расходы, но и мне... Еще неизвестно, кому больше. Но мы только начали пробивать дорогу. Все, что мы делаем, – это впервые. Испытываем идею, проверяем и друг друга, правильно?

– Совершенно согласен.

– Извините, я еще не все сказал, – Фаваз помолчал. – Мы испытываем и сами себя. Может оказаться, что самые большие трудности нас поджидают именно здесь. Вы сказали, что поделите эти деньги, – Фаваз кивнул на стопку долларов посередине стола. – Не знаю, будут ли части равными... Это вы решите сами. Но не все будут согласны на дележ поровну.

– Вы так хорошо нас знаете? – спросил Мандрыка.

– Я знаю людей, – виновато улыбнулся Фаваз.

– Все люди одинаковы?

– Извините... Да. Мне так кажется. Я могу ошибаться, но у меня не было случая убедиться в обратном. Я всегда убеждался в том, что люди одинаковы. Кто-то приложил больше усилий, кто-то – меньше... Наверное, найдется человек, который не приложил никаких усилий... Но он тоже хочет получить свои десять тысяч долларов. А если он их получит, тот, кто работал больше, будет обижен.

– Стерпим, – буркнул Выговский.

– Это хорошо, – Фаваз сидел некоторое время молча. – Только терпение – такое состояние... Я правильно выражаюсь? Такое состояние, которое не бывает слишком долгим. Как и все на этой земле... Извините.

– Разберемся, – проворчал Выговский, поднимаясь и рассовывая доллары по карманам. – Во всем разберемся, выясним, уточним и доложим.

– Когда будет следующий состав?

– Он уже в порту.

– Очень хорошо, – кивнул Фаваз. – Значит, сегодня судно выйдет из Стамбула. Вы когда-нибудь были в Стамбуле?

– Собираемся.

– Когда соберетесь – скажите мне. Я постараюсь организовать вам небольшую экскурсию по Стамбулу. С посещением мест, которые вам захочется посмотреть.

– Неплохая идея, – рассмеялся Выговский, пожимая на прощание пухловатую ладонь Фаваза.

Музыка по ночам становилась все тише и заканчивалась все раньше – к четырем утра уже наступала тишина. Самые свирепые танцоры постепенно разъезжались по домам, и оставались люди степенные, выдержанные. Они не любили яркого солнца, предпочитали осеннюю прохладу, тишину и красное вино в умеренном количестве.

Пока чебуречник, молодой полуголый парень, готовил свое блюдо, я молча стоял за его спиной, прислонившись к дереву. Не торопил, не проявлял недовольства. Если уж откровенно, то я его и не видел.

– Ну почему ты такой невеселый?! – не выдержал он молчания. – Что тебя достает?

– Вчера было слишком весело.

– А! – радостно вскричал парень. – Тогда все понятно. Сейчас полегчает. Только мой тебе совет – не похмеляйся вином. Будет еще хуже.

– Пивом?

– Ты что?! – Он, кажется, действительно ужаснулся. – Пиво на похмелку – это смерть!

– Но ведь всегда...

– Это смерть! – перебил он меня. – Пиво можно пить и много, и в охотку, пребывая в свежем, незамутненном алкоголем состоянии! Только тогда оно может принести скромную, ни для кого не заметную радость бытия.

– Красиво говоришь, – вырвалось у меня.

– Не всегда же я чебуреки делаю.

– Чем еще занимаешься?

– А! – Он досадливо бросил руку сверху вниз и снова обратился к блестящим металлическим валикам, с помощью которых раскатывал тесто в плоские лепешки.

Продолжать разговор было не о чем, и, съев два чебурека, я медленно двинулся вдоль опустевшей сентябрьской набережной, мимо поредевших киосков, мимо причала к пляжу нудистов, которые из всех сил делали вид, что сливаются с природой, что им легко бегать, загорать, жить нагишом, блистая скромными своими мужскими и женскими достоинствами. Задумчиво, с идиотской значительностью беседовали два выжженных на солнце старика, куражился пьяный толстяк, тряся жиденькими груденками, две девицы перебрасывались мячом, какие-то хмурые личности с возбужденными членами мрачно ходили по пляжу, переступая через тела. И у всех, у всех в уголках глаз посверкивала напряженная искорка: «А что, дескать, – могу! Вот разденусь при всех, и ничего мне за это не будет! А вам слабо!» Похоже, вольное слияние с природой давалось нелегко, требовало силы воли и некоторого бесстыдства.

– Прекрасна крымская земля вокруг залива Коктебля! – орал толстяк, время от времени прикладываясь к большой пластмассовой бутылке. – Колхозы, брат, совхозы, брат, – природа! Но портят эту красоту сюда приехавшие ту...неядцы, брат, моральные уроды!

Скосив красный глаз и заметив, что я прислушиваюсь к его руладам, он выдал самые, по его мнению, ударные слова из старой, полузабытой песенки туристских времен:

– И хоть купальничек на ней, а под купальничком ей-ей! Все голо, брат, все голо, брат, все голо!

Подмигнув мне красным своим петушиным глазом, толстяк свинтил крышку с бутылки и снова припал к мутному теплему вину. А потом, увидев, что я все еще наблюдаю за ним, начал из этой же бутылки поливать голые груди рядом лежавшей толстухи. Та даже не пошевелилась. Он снова подмигнул – вот, дескать, как можно жить, старик, вот как живут некоторые!

На моих глазах с ревом оторвался от асфальтовой дорожки и круто взмыл над морем красный дельтаплан. Пролетев над пляжем, он устремился к острым вершинам Карадага и через минуту скрылся за скалой. Я представил себе вид, который, наверно, открылся сейчас с дельтаплана, и, не раздумывая, уселся в кресло готового взлететь самолетика.

– Семьдесят гривен, – сказал пилот, полуобернувшись.

– Договорились.

– Можем и дольше полетать.

– Договоримся.

– Пристегивайся.

Щелкнув жиденькой пряжкой, я поплотнее вжался в кресло и приготовился к острым ощущениям. Дельтаплан оторвался от асфальта удивительно легко, вошел в вираж, тут же снова выровнялся, и неожиданно оказалось, что мы уже на приличной высоте, гораздо больше ста метров, и скалы Карадага приближаются к нам с пугающей быстротой.

– Ну как? – прокричал пилот.

– Нормально.

– Дальше летим?

– Летим.

Самолетик обогнул монументальный профиль Волошина, вблизи оказавшийся бесформенным нагромождением камней, под нами промелькнули глыбы Лягушачьей бухты – когда-то свалившиеся с вершин гор и навсегда замершие в прибрежной гальке. Неожиданно справа

показалась отвесная скала, торчащая прямо из травы, – она уходила ввысь метров на сто, наверно, никак не меньше.

– Чертов палец! – прокричал пилот.

– Чей палец? – не расслышал я.

– Чертов! Понял? Чертов палец!

– Давай вокруг!

– Нельзя!

– Плачу вдвое!

– Тогда можно, – рассмеялся пилот, и мы круто пошли на сближение со страшноватым шпилем, бестолково торчащим из ровной поляны. Правда, трава была осенняя, пожухлая, но весной, наверно, все это должно смотреться куда интереснее. Мимо нас в жутковатой близости проносились камни, кусты, пологие склоны, обрывистый берег, и наконец с чувством облегчения я увидел, что Чертов палец остался позади и путь наш лежит в открытое, безопасное, зовущее море.

– Ну как?

– Здорово!

– К Золотым воротам летим?

– Летим, – сказал я, совершенно не представляя, где эти Золотые ворота и чем нам это грозит.

– Платишь втрое! – обернулся пилот.

– Заметано.

– Двести гривен! – уточнил он.

– Понял.

И мы снова полетели вдоль скал, проплывавших, кажется, на расстоянии вытянутой руки, совсем рядом. Обрывистые, слоистые, уложенные в какой-то разумной круговой последовательности, они казались древними сооружениями.

– Мертвый город! – прокричал пилот, показывая рукой на каменные столбы, выложенные полукругом.

Мы углубились в ущелье, широкое, пологое, заросшее кустарником. Сделали круг над каменными стенами, и вдруг в самом низу, в море, недалеко от берега, я увидел то, что здесь называли Золотыми воротами, – двуглавая скала с большой дырой у самой воды. Эти ворота я видел на майках, на обложках книг, на картах, даже в ресторане Славы Ложко они были изображены в красных закатных тонах.

– Золотые ворота! – прокричал сквозь рев мотора пилот.

– Понял.

– Домой?

– Пора!

И снова мы летели вдоль скал, снова в стороне проплыл устремленный в небо с каким-то невысказанным укором Чертов палец, а может быть, это был не укор, а угроза?

Как знать, как знать.

И вот уже почти родная линия пляжа, тела, тела, некоторые даже машут руками, и – асфальтовая дорожка. Я отдал пилоту две сотенные бумажки, мы пожали друг другу руки, похлопали по плечам и на том расстались.

Стоило мне на несколько шагов отойти от взлетной тропинки, как я увидел, что навстречу мне, широко улыбаясь, идет все та же девушка с пляжа.

– Привет! – сказала она, протягивая узкую загорелую ладошку.

– Привет, – ответил я. Ладошка ее оказалась сильной, жесткой, сухой.

– Прилетел?

– Прилетел.

– Слава богу! – она усмехнулась, показав зубки, ровные, казавшиеся особенно белыми на фоне загорелого лица. – А то мы уже начали беспокоиться.

– Кто – мы?

– Народ! – Она рассмеялась. – Все видели, что вы повернули за профиль Волошина и исчезли. Проходит пять минут, десять, пятнадцать – вас нет.

– Надо же, – это единственное, что я мог произнести.

– Жанна, – сказала она, опять протянув ладошку. И снова я почувствовал ее неожиданную жесткость.

– Ж... Женя, – не без заминки назвал я чужое имя.

– Я знаю, что вы Женя, что работаете журналистом где-то в Сибири, пишете потрясающие очерки о криминальной жизни вашего города.

Я похолодел. Начал спешно, панически прокручивать – кому я все это говорил. И вдруг вспомнил – Алевтин... В столовой Дома творчества. Только для него и была выдумана эта идиотская история. Значит, и его втянули в эти сети? Да, я вдруг ощутил, что все время натываюсь на почти невидимые сети.

– Кто это вам сказал? – спросил я.

– Ваш приятель из Дома творчества.

– А, – вяло протянул я. – Лева... Вы с ним знакомы?

– Пристал, пристал, прискучил... Еле отвязались. Все, счастливо! Мои девочки нашлись. – Она побежала по дорожке, свернула в какой-то проход и исчезла.

К моему замку в номере надо привыкнуть – первый проворот ключа дается легко, а чтобы сделать второй, надо приложить силу, хорошо так поднажать. Когда я поднялся по лестнице и вставил ключ, дверь открылась после первого же поворота ключа. Видимо, была уборщица, подумал я и, закрыв за собой дверь, заглянул в туалет – ведро с мусором оказалось полным.

Уборщицы в номере не было.

– Так, – сказал я вслух и повернул ключ еще раз.

Банкет.

Состоялся грандиозный банкет.

В Центральном Доме литераторов.

На этом настоял Выговский.

Чем ему приглянулось это странноватое место, сказать трудно. То ли он бывал здесь когда-то и у него сохранились неплохие воспоминания, то ли неожиданно стал доступным ресторан, который всегда казался верхом роскоши – громадный камин, резные дубовые колонны, фигурный паркет, вышколенные официанты в черных костюмах...

Наверно, всего понемножку.

Но все-таки главным было то, что это место, видимо, казалось ему почище других, без криминальных разборок, без крутых мордоворотов, без голых баб и пьяных качков.

Примерно так все и оказалось. Писатели, когда-то справлявшие здесь шумные веселья по поводу выхода новой книги, юбилея или премии, теперь и на порог ресторана ступить не смели. Они робко жались в подвальном буфете, стараясь тут же, едва войдя, нырнуть мимо женского туалета по лестнице вниз, вниз и затаиться там почти невидимо, почти неслышимо. Иногда брали котлетку с макаронами, иногда решались на кружку пива, а если уж кто тайком проносил с собой бутылку водки, то веселье начиналось почти как в прежние времена. Правда, не в радужных огнях хрустальной люстры, а здесь, в подвале, в полумраке тусклых лампочек. И женщины у них теперь были далеко не прежние – без крутых нарядов, без ослепительных улыбок, без высоких каблуков и потрясающе смелых вырезов на платьях. Да, бабы у писателей сделались какими-то притихшими, несмелыми. Оглядывались по сторонам, словно ожидая

швейцара с метлой, заказывали бутербродик с колбаской, вина подешевле. И сразу в уголок, подальше от света, от глаз людских и, кажется, даже от самих себя.

А где же прежние красавицы, уверенные в собственной высокой предназначенности?

С кем они нынче?

На что живут?

Да и живы ли?

Годы-то прошли, яркие годы, залитые светом хрустальных люстр, озвученные громом аплодисментов, ревом взлетающих из Шереметьева лайнеров, звуками парижских аккордеонов и мягким шелестом теплых волн у далеких островов...

И писатели, имеющие по двадцать, по сто двадцать книг, торопливо проскальзывали в подвал, уступая светлые залы новым людям, словно заранее признавая за ними право на все это великолепие.

Два раза в год, перед летом и под Новый год, им позволяли собраться на прежней территории, но не в самом ресторане, упаси боже, на дальних подходах, в бывшем Пестром зале, а последнее время в том же подвале. Пригласив тайком, без огласки наиболее достойных, заслуженных, увенчанных многочисленными премиями, им подносили по рюмке водки и предлагали закусить тем, кто чего успел схватить до того, как столы опустевали, а опустевали они в мгновение ока.

Да, другие книги сегодня на прилавках – в ярких, нахальных обложках, залитых кровью невинных жертв, украшенные злодейскими рожами безжалостных наемных убийц...

Кошмар какой-то!

Выговский обо всем договорился заранее, официант в черном их встретил у подъезда, и они вошли, предупредительно уступая друг другу дорогу. Выражение лиц у всех было примерно одинаковое – затаенное ожидание неземного блаженства. Заслуженного, заработанного и щедро ими же оплаченного блаженства.

Стол накрыли у громадного камина, в углублении, просторный, устойчивый стол, и стулья были устойчивые, опять же из резного дуба. И все в этом мире, казалось, приобретало надежность, незыблемость на долгие годы. Но мы-то с вами знаем, чего стоит эта незыблемость, насколько вечна эта вроде бы надежность. Совсем недавно, всего несколько лет назад, на этих же самых стульях, у этого же камина сидели другие люди – им тоже мир казался незыблемым и устойчивым. Как веселы были их голоса, как раскатист смех после третьей рюмки настоящего коньяка! Их имена знал каждый школяр, и эти имена им самим казались если не вечными – где-то рядом с вечностью, где-то совсем рядом.

Ну, да ладно, не будем ни о вечном, ни о грустном.

Агапов пришел в роскошном исландском свитере с открытым воротом, из которого выступала черная рубашка. Очень красиво получилось, даже какая-то дерзость чувствовалась в этом наряде. Мандрыка явился в очередном клетчатом пиджаке и опять же в белоснежной сорочке. Здор – в сером костюме от Версаче. Тонкая струящаяся ткань, красноватый галстук. На Гущине и Выговском появившиеся деньги не отразились, во всяком случае, видимых перемены в их облике не произошло. А северяне Усошин и Горожанинов, представляющие эковскую и железнодорожные участки фирмы, купили себе костюмы добротные, дорогие, если не черные, то очень темные. Они им казались верхом изысканности и достоинства.

– Вас в этих костюмах только в гроб положить! – расхохотался Здор.

А напрасно. Не надо бы ему про гроб, не надо бы. Но не будем опережать события.

– Нам есть о чем поговорить, – начал Выговский. – Поэтому предлагаю сегодня пить шампанское.

– Шампанское? – протянул Агапов, и радость на его лице как бы погасла.

– Я предлагаю много шампанского, – уточнил Выговский.

– А так бывает? – удивился Усошин.

– Николай Иванович, теперь у нас все бывает. – Выговский сел во главе стола.

Шампанского действительно оказалось много. В серебряных ведерках, обложенные сверкающими кубиками льда, бутылки с золочеными горлышками выглядели нарядно, празднично, даже с вызовом. В фужерах с золотыми ободками чувствовалось нетерпение – они желали быть наполненными, желали быть опустошенными и наполненными снова. Не удовлетворить их желание было невозможно – и друзья его удовлетворили. И опять ведерки стояли с бутылками шампанского, и опять фужеры требовали своего.

Ярко-красная семга, белоснежная осетрина горячего копчения, черные, в бликах огня испанские маслины, желтый лимон, золотые кружочки жульена, свежая, незамутненная зелень, покрывающая щедрые куски шашлыка по-карски!

А золоченая фольга на горлышках бутылок!

А холодный, будто хирургический, блеск ножей и вилок!

А праздничный грохот настоящих, настоящих, а не пластмассовых пробок!

А легкий, прозрачный дымок, поднимающийся из свежевскрытой бутылки! И до того, как пена подступала к горлышку, было время, было достаточно времени, чтобы взять эту бутылку в руки и, не торопясь, спокойно, но и не медля ни секунды, разлить вино по изнывающим от нетерпения фужерам! И смотреть, смотреть, как бликующие в свете хрусталя мелкие пузырьки освобожденно устремляются вверх. И нужно не дать им уйти в пространство ресторана, нужно их выпить, и пусть они уже там, в тебе, освобождаются, уносятся вверх, к голове, и наполняют сознание чистым, незамутненным хмелем.

Все, писать подобное нет больше сил. Нет никаких сил описывать запахи – какой дух шел от шашлыка, как таял во рту жульен, наполняя всего тебя грибным духом леса, дымка от костра, и как освежали и обостряли эти ощущения тонко нарезанные ломтики лимона, настолько тонкие, что сквозь них можно было читать произведения писателей, кутивших здесь несколько лет назад. Об этом как-нибудь в другой раз – когда восстановятся силы.

И шампанское! Это надо подчеркнуть – было много холодного, настоящего шампанского. Уже через полчаса никто не пожалел, что нет на столе коньяка, водки и других более сильных напитков, более прямых и суровых. Это был какой-то разгул шампанского, все были окроплены брызгами шампанского, и казалось – это навсегда.

А почему бы и нет, почему бы и нет, ребята?!

Уж если все так хорошо складывается и нет вокруг ничего, что заставило бы насторожиться, оглянуться с опаской, вздрогнуть от неприятной неожиданности, – почему нет?!

– Нам надо определиться, – Выговский дождался секундной тишины в общем гаме и положил на стол нож и вилку.

– Ты хочешь еще заказать шампанского? – спросил Мандрыка. – Не возражаю.

– Нам надо определиться, – повторил Выговский. – У нас есть семьдесят тысяч долларов. После сегодняшнего ужина их останется немного меньше. Как будем делить?

– Были бы деньги, – проворчал Здор. – А уж поделить – дело несложное.

– Сережа Агапов заготовил три железнодорожных состава леса. Слава Горожанинов через всю страну доставил его в Новороссийск. Боря Гушин погрузил лес на корабль и отправил в Турцию. Николай Иванович Усошин во всех этих делах участия не принимал. Николай Иванович, простите... Я знаю, что в лагере работа идет, зэки вкалывают, готовят лес для новых составов, но это будущее. Как нам быть сейчас?

Усошин с силой бросил на стол вилку, обвел всех тяжелым взглядом, поставил локти на стол и долго молчал, глядя на оставшиеся куски шашлыка.

– Когда ты приехал ко мне, Игорь Евгеньевич, – наконец заговорил он, – то сказал, что все в доле. Что мы одна шайка-лейка. И все заработанное будем делить между собой.

– Я и сейчас это повторяю, – спокойно сказал Выговский.

– Поровну, сказал ты тогда.

– Я и сейчас готов это подтвердить. А ты, Миша? – обратился он к притихшему Здору.

– А что я? Я ничего! Как все! – куражливо зачастил Здор. – Лес не рубил, вагоны не грузил. Через всю страну эти вагоны не толкал. В порту тоже ничем себя не проявил. И фавазовский корабль идет к берегам Турции без моего участия. Я могу быть свободным? Как говорится, спасибо за угощение! Много доволен! – Он сделал попытку подняться из-за стола, но Агапов, взяв его за плечо, резко усадил на место.

– Лес пошел мой, поэтому я имею право тебя остановить, – сказал он. – Это что же получается, господа хорошие? Гуляли – веселились, подсчитали – прослезились? Игорь Евгеньевич, объяснитесь! Как нам дальше жить? С кем дальше жить?

– Ребята, – Выговский помолчал, сунул в рот дольку лимона. – Мы немного выпили шампанского, еще выпьем. Сегодня же, за этим столом. И закусим чем бог пошлет. Да, я обещал все заработанное делить поровну. Ни от одного своего слова не отказываюсь. Деньги сегодня же поделим поровну. За исключением тех, которые нужны для продолжения работы. Переезды, контора, билеты и так далее. Но! Все это в том случае, если мы сейчас так решим. Хочу предупредить сразу... Если мы поделим деньги поровну, то напряг между нами будет больший, чем если бы мы каждому дали с учетом его участия в той или иной операции. Сегодня мы в некотором упоении от первой победы, от первых денег. Дальше деньги пойдут другие. С сегодняшние покажутся копейками. Вы и дальше готовы все делить по-братски? Когда на кону будут миллионы долларов?

– Откуда?! – ужаснулся Агапов.

– От верблюда. Сейчас мы не в том состоянии, чтобы принимать решения здравые, трезвые, разумные... Но я своевременно всех вас предупреждаю. Нам нужно все точки расставить по местам. Чтобы потом не стучать кулаками, не брызгать слюной и не совершать других, более крутых действий.

– Каких таких? – спросил Здор.

– О! – весело махнул рукой Выговский. – Их столько напридумано за последние тысячи лет, столько опробовано и испытано, что если начать перечислять... Кто будет лесом торговать? Николай Иванович! Рядом с тобой бутылка во льду! Открывай!

Усошин чему-то усмехнулся про себя и взял бутылку из ведерка со льдом. Не было в его почти неуловимой улыбке ни растерянности, ни смятенности. Была лишь легкая озадаченность, не более того, да и озадаченность казалась какой-то улыбчивой. Будто был у него козырь, о котором никто не знал, не догадывался даже, будто не все он сказал, а то, что сказал, – не самое главное. И дальнейшие его действия только подтверждали это мимолетное впечатление. Он открыл бутылку, налил себе полный фужер вина, медленно налил, не торопясь, хотя видел, что все за столом ждут его, ждут, чтобы разлить шампанское по фужерам. Наполнив свой бокал, Усошин невозмутимо отставил бутылку в сторону. Даже не пытался налить еще кому-то, хотя такой порядок за столом уже успел сложиться. И тоста не стал дожидаться – не спеша выпил до дна, бросил в рот маслинку и только тогда посмотрел на собутыльников. Прошелся взглядом по лицам. Выражение у него при этом было совершенно безмятежное.

– Прекрасная погода, не правда ли? – произнес наконец Усошин и опять усмехнулся общему недоумению – из той ниши в ресторане, где они сидели, никакой погоды увидеть было невозможно. – Это один мой зэк так выражается. Когда я его к себе вызываю. Из интеллигентов. Слушает, слушает меня, потом улыбнется и спрашивает: «Прекрасная погода, не правда ли, гражданин начальник?» Такой вот интересный зэк.

– После этого отправляется в карцер? – спросил Гушин.

– Ничуть. К себе отправляется. На нары. Или еще куда-нибудь.

– А куда еще он может отправиться?

– Мало ли, – Усошин сделал вольный такой жест рукой, будто вопрос показался ему неуместным или, скорее, не заслуживающим ответа.



Все последние дни Усошин держался в тени и, как говорится, не возникал ни по какому поводу. Как ему удалось вырваться из своего лагеря на целую неделю, никто не спрашивал, да это, собственно, никого и не интересовало. Оставил лагерь на заместителя или вообще взял да и запер ворота на неделю – так ли уж это важно? И вот первый раз Усошин чуть приоткрылся. Даже нет, не приоткрылся, дал понять, что его не знают настолько, чтобы о нем судить.

Его не знают.

И все.

Прodelал он это с таким изяществом и безукоризненной точностью, что Выговский не мог не восхититься. И подумал про себя – ну и клубочек у нас собирается!

– Когда в обратную сторону? – спросил Мандрыка.

– Наверно, завтра с Сережей Агаповым и отправимся. Нам ведь в одни места.

– Я тоже с вами, – быстро сказал Горожанинов. – Железная дорога тоже нуждается в постоянном внимании. Так что вы тут оставайтесь на хозяйстве одни, без нас, – добавил Горожанинов, и слова его прозвучали не столь уж безобидно. Был в его словах скрытый смысл, который выглядел явно более значительным. – Справитесь?

Как и Усошин, Горожанинов наполнил свой фужер и отставил бутылку в сторону. И это прозвучало как некое единение. Мы, дескать, заодно.

– Постараемся, – ответил Выговский – тут тоже не приходилось надеяться на легкую жизнь, тут тоже что-то зрело. Они почти двое суток будут ехать в одном купе и споются за это время, как им только захочется, подумал он.

Выговский разлил оставшееся вино всем поровну – себе, Агапову, Мандрыке, Здору и Гушину.

– Наполним бокалы! – весело сказал он. – Содвинем их разом!

– Прекрасный тост! – воскликнул Здор с чувством облегчения – он опасался, что если сейчас, за столом, начнут делить деньги, то его наверняка обойдут. – Спиши слова!

– И так запомнишь! – отмахнулся Выговский. – О делах продолжим завтра утром. Заметано?

– Пусть так, – кивнул Усошин.

– Тогда закажем еще шампанского. – Подняв руку над головой, Выговский звонко шелкнул пальцами, привлекая внимание официанта. А тот уж и так торопился, увидев, что последняя бутылка выпита.

И веселье продолжалось.

Все так же с радостной возбужденностью звучали голоса, но прежней легкости, беззаботности и отчаянной открытости уже не было. Словно какое-то облако подозрительности и опаски опустилось над столом, невидимое, но всеми ощущаемое облако. Все так же радостно взмахивал руками Агапов, блистал тонкими анекдотами Гушин, но Здор был насторожен и выглядел отрезвевшим. Мандрыка улыбался, кивал головой, пил и закусывал, но помалкивал. Прошло совсем немного времени, и замкнулся Усошин, стал украдкой поглядывать на часы, а когда кто-нибудь в компании поглядывает на часы украдкой и, как ему кажется, совершенно незаметно, это мгновенно видят все. И тоже смотрят на свои часы. Незаметно приближается и занимает исходную позицию официант – и стол сразу превращается в какое-то умирающее существо. Оно, это существо, еще посверкивает глазками, оно еще лязгает железными зубами вилок и ножей, бьет чешуйчатым хвостом, позвякивая бокалами, но все понимают – существо доживает последние свои минуты.

– Вы меня извините, как человек северный, живущий среди зэков... – Усошин помялся. – Я бы кое-что со стола захватил в гостиницу. – Он потянулся было к салфеткам, но Выговский его остановил.

– Завернут, – сказал он холодно. – Упакует наилучшим образом, сложат в корзинку и отнесут в машину.

– Даже так?! – восхитился Усошин. – Теперь я понимаю, почему люди стремятся жить в столице.

Наутро, в гостинице, почти не обмениваясь словами, в легкой угнетенности после вчерашнего перебора поделили деньги. Не сговариваясь, будто все было решено заранее, Выговский каждому отсчитал по семь тысяч.

– Возражения есть?

– Я доволен, – легкомысленно брякнул Здор.

– А почему бы тебе не быть довольным, – пожал плечами Гушин. – На твоём месте я бы тоже был доволен.

– Согласен! – нервно бросил Здор. – Меняемся местами.

– Остановитесь, – поморщился Выговский. – У вас ещё будет время и будет повод. Более достойный. Это я вам обещаю.

– Дождаться бы! – все не мог успокоиться Здор.

– Через месяц. Когда получим не по семь, а по семьдесят тысяч долларов. А пока я предлагаю Гушину, Агапову и Горожанинову выдать премиальные. По три тысячи. Им надо кое с кем расплатиться. Я правильно понимаю положение?

– Мне придется расплатиться не только этими тремя тысячами, но и свои основные затронуть, – проворчал Гушин.

– Твои проблемы, – опять возник Здор.

– Не надо бы тебе этого говорить, – сказал Усошин. – Лишнее болтаешь.

– А ты откуда знаешь?

– Пообщаешься с зэками лет десять-двадцать... Начнешь кое-что соображать в жизни.

– А я общался!

– Чувствую – маловато, – усмехнулся Усошин.

Поезд на Север уходил вечером, пора было расходиться. Хотелось отдохнуть, похмелиться, купить гостинцы, просто пошататься и обдумать события последних дней. Была, все-таки была какая-то неопределенность, может быть, даже нервозность. Все понимали, что происходит нечто существенное, необратимое. Да, так будет точнее – именно необратимое.

Второй оборот ключа мне дался с трудом, как обычно. Но я его все-таки провернул и, толкнув дверь, некоторое время стоял неподвижно, стараясь запустить в действие все свои чувства – слух, зрение, обоняние, даже интуицию – и ощутить нечто неосязаемое. Но нет, ничто во мне не дрогнуло, не напряглось, не предсказалось.

Осторожно, стараясь не производить никаких звуков, я вошел в комнату и сразу увидел главное – дверь на лоджию была открыта, крючок висел безвольно и даже как-то обесчещенно. В таком положении я его никогда не оставлял. Дело в том, что врезанный в дверь замок был когда-то безжалостно вывернут, и теперь дверь запиралась только на корявый, изогнутый крючок, который тем не менее был достаточно надежен. Уйти, оставив дверь незапертой, я не мог, это исключено.

Бывает в нашей жизни, полной опасностей и всевозможных неожиданностей, что щеколда в замке проворачивается на два шага даже при одном повороте ключа. Второй поворот при этом не требуется, да он и невозможен. А бывает, что щеколда ведет себя, как и положено, – при одном повороте ключа проворачивается на один шаг, при втором – еще на один шаг.

Это нормально, это правильно и естественно.

И ни у кого не вызывает дурных предчувствий.

Хорошо, подумал я, допустим, щеколда решила со мной пошалить и при двух поворотах ключа продвинулась всего на один шаг. Бывает. И тогда мои подозрения глупы и безосновательны.

Но кривой, ржавый крючок из толстой проволоки все ставил на свои места – в номере кто-то побывал. И не уборщица, поскольку мусор остался в ведре. Он оставался нетронутым уже несколько дней, но напомнить об этом я не смел – уж больно гордая и самолюбивая уборщица мне досталась. Над ведром уже кружила мошкара, иногда с ревом бомбардировщика комнату пересекала муха с перламутровым зеленоватым брюхом – это было уже серьезное предупреждение.

Продолжим.

Человек, который побывал здесь, должен быть заинтересован в том, чтобы я не догадался о его посещении. Если же он не успел или не смог закрыть дверь на два оборота, если он оставил крючок болтаться в петле, значит... Что это может означать?

Первое – он уходил спешно.

Второе – через лоджию.

Третье – в те самые секунды, когда я поднимался по лестнице со своим ключом на изготровке. Не исключено, совсем даже не исключено, что какое-то недолгое время мы с ним оба находились в номере. Но я – в прихожей возле туалета, а он на лоджии, уже перебрасывая ногу через перила.

Не придумав ничего лучшего, я спустился вниз и у крыльца, у какого-то густого куста попытался найти хотя бы отпечатки подошв. Ничего. Вокруг всего дома была сделана отмостка из мелкой гальки с бетоном, и отпечататься там не смогла бы даже кувалда, сброшенная с крыши.

Но я нашел, нашел наконец то, что искал. Дело в том, что над крыльцом был сделан жестяной навес – он покрыт потеками смолы с крыши, опавшими листьями, персиковыми косточками и прочими отходами южной жизни. Подпирался навес с каждой стороны двумя железными, выкрашенными масляной краской трубами – они веером расходились от крыльца. Чтобы уйти из моего номера через лоджию, достаточно был прыгнуть на навес, а уже с него, скользя вдоль труб, спуститься на землю. На все это вряд ли требуется больше десяти секунд.

И вот моя первая радость – вдоль обеих труб, установленных со стороны моей лоджии, шли черные полосы. Следы скользящих подошв. Я потрогал пальцем одну полосу, вторую. Совершенно свежие. Даже мелкие катышки можно было заметить на их покато́й поверхности.

– Так, – проговорил я вслух и поднялся в номер, – суду все ясно и понятно. Вопрос остается один – в номере побывал вор или кто похуже?

Повернув ключ два раза и оставив его в замке, чтобы никто другой не смог просунуть в эту щель свою отмычку, я продолжал стоять все в том же состоянии настороженности. Стараясь не сделать ни одного лишнего движения, чтобы не разрушить преступные слои воздуха, не сместить преступные запахи, которых я не ощущал, но которые наверняка еще наполняли номер, я открыл дверь в ванную.

И опять тихая радость охватила меня.

Дело в том, что мой кран слегка подтекал. Тихо, мелко и пакостно из него постоянно сочилась почти неприметная струйка водицы. Она стекала на пол, покрытый мелкой, вразнобой, пьяно уложенной плиткой. Вода скапливалась между выступами, некоторые, более других утопленные плиточки покрывала полностью и наконец уходила в сток для душа. Едва глянув на эту струйку, я просто не мог не подумать, что любой недостаток в мире имеет свои достоинства. Как и эта косо-криво уложенная плитка, как и подтекающий кран, который никто не удосужится затянуть чуть плотнее, как и эта проржавевшая сточная решетка для душа, которого, кстати, давно уже не было в номере. Впрочем, у меня было ощущение, что душа здесь не было никогда. Хотя труба с ситечком болталась где-то у самого потолка, два штыря, предназначенные для открывания и закрывания холодной-горячей воды, тоже имелись, но ручек на них не было, и единственное, для чего они могли пригодиться, – это повесить на них для просушки трусики, лифчики и прочие волнующие подробности местного быта.

Но это все ерунда.

Главное в другом.

Мой таинственный гость, прежде чем войти в комнату, заглянул в ванную. Не знаю, зачем ему это понадобилось и что он там надеялся увидеть. Правильно, в общем-то, поступил – на всякий случай, чтобы не было неожиданностей, мало ли что... В общем, заглянул и, похоже, даже посмотрел на себя в зеркало, потому что обеими своими ногами побывал в незаметной лужице, на коряво уложенных плитках. Убедившись, что в ванной нет ничего, он прошел в комнату.

А тут внизу хлопнула входная дверь – я возвращался. И он, уже ни о чем не задумываясь, рванул на лоджию, спрыгнул на навес и по трубам соскользнул на крыльцо.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.